

# ВЛАС ДОРОШЕВИЧ

*Каторга. Преступники*



# Влас Михайлович Дорошевич

## Каторга. Преступники

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174121](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174121)*  
*Каторга. Преступники: Эксмо; Москва; 2008*  
*ISBN 978-5-699-26316-5*

### **Аннотация**

В 1903 году русский журналист и писатель Влас Дорошевич (1864–1922) написал книгу о Сахалине – самом отдаленном острове Российской империи, освоенном беглыми людьми, каторжниками и поселенцами. Книга имела большой успех, не раз переиздавалась, в том числе и за рубежом. В. Дорошевич сумел воссоздать вполне реалистическую картину трагедий и ужасов Сахалина: его тюрем, палачей, преступников всех мастей – убийц, людоедов, воров, авантюристов.

## Содержание

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Часть первая                                                                                                         | 4   |
| Татарский пролив. – Климат. – Природа. – Северный, Средний<br>и Южный Сахалин. – Сахалинская дорога. – Остров-тюрьма | 4   |
| Первые впечатления                                                                                                   | 9   |
| Лазарет                                                                                                              | 12  |
| Каторжное кладбище                                                                                                   | 18  |
| Тюрьма                                                                                                               | 21  |
| Наряд                                                                                                                | 22  |
| Тюрьма ночью                                                                                                         | 26  |
| Раскомандировка                                                                                                      | 28  |
| Тюрьма кандалная                                                                                                     | 30  |
| Вольная тюрьма                                                                                                       | 33  |
| Мастерские                                                                                                           | 35  |
| Околоток                                                                                                             | 37  |
| Женская тюрьма                                                                                                       | 39  |
| Карцеры                                                                                                              | 40  |
| «Исправился»                                                                                                         | 43  |
| Два одессита                                                                                                         | 45  |
| Убийцы                                                                                                               | 49  |
| Гребенюк и его хозяйство                                                                                             | 51  |
| Паклин                                                                                                               | 54  |
| Поселенцы                                                                                                            | 58  |
| Сожительница[9]                                                                                                      | 60  |
| Сожитель                                                                                                             | 62  |
| Добровольно последовавшая                                                                                            | 64  |
| Домовладельцы                                                                                                        | 66  |
| Резцов                                                                                                               | 68  |
| Свободные люди острова Сахалин                                                                                       | 70  |
| I. Редактор-издатель                                                                                                 | 70  |
| II. «Сахалинский Орфей»                                                                                              | 72  |
| III. «Спиртовая торговля»                                                                                            | 75  |
| IV. Бирич                                                                                                            | 76  |
| Каторжный театр                                                                                                      | 79  |
| Каторжные артисты                                                                                                    | 86  |
| Бродяга Сокольский                                                                                                   | 88  |
| Преступление в Корсаковском округе                                                                                   | 91  |
| Отъезд                                                                                                               | 92  |
| Настоящая каторга                                                                                                    | 94  |
| Столица Сахалина                                                                                                     | 98  |
| I                                                                                                                    | 98  |
| II                                                                                                                   | 100 |
| Приговаривается к каторжным работам                                                                                  | 104 |
| Конец ознакомительного фрагмента.                                                                                    | 105 |

# **Влас Михайлович Дорошевич**

## **Каторга. Преступники**

### **Часть первая**

#### **Каторга**

### **Татарский пролив. – Климат. – Природа. – Северный, Средний и Южный Сахалин. – Сахалинская дорога. – Остров-тюрьма**

Это было 16 апреля.

Дул порывистый, холодный, пронизывающий норд-вест, пароход кидало с бока на бок. Я стоял на верхней палубе и всматривался в открывающиеся суровые, негостеприимные, скалистые, покрытые еще снегом берега.

Первое впечатление было безотрадное, тяжелое, гнетущее.

Словно какое-то чудовище, с покрытой буграми спиной, вытянулось, замерло и выжидает добычи.

– Вон место, где погибла «Кострома», – указывает мне капитан.

Я спускаюсь на нижнюю палубу.

Около иллюминаторов на палубе сменяются лица арестантов.

Смотрят, вглядываются в берега острова, где придется кончать свой век.

Замечания краткие, мрачные:

– Сакалин!

– Зима еще!

– Дай поглядеть!

– Не на что и глядеть. Все под снегом. Качка усиливается. Мы идем Лаперузовым проливом. Налево – Крильонский маяк. Направо – кипят и пенятся валуны, покрывая «Камень Опасности». Впереди надвигается полоса льда. Льдины застилают весь горизонт.

Право, это звучит горькой насмешкой.

Провезти людей чуть не кругом света. Показать им мельком уголок земного рая – пышный, цветущий Цейлон, дать взглянуть одним глазом на Сингапур, этот роскошный, этот дивный, этот сказочный сад, что разросся в полутора градусах от экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японии, при входе в Нагасаки, – на берега, от которых глаз не оторвешь, для того чтобы привезти после всего этого к скалистым, суровым берегам, покрытым снегами в половине апреля, в эту страну пурги, штормов, туманов, льдин, вьюг и сказать:

– Живите!

Сахалин...

– «Кругом – вода, а в середине – беда!», «Кругом – море, а в середине – горе!» – как зовут его каторжные.

Остров отчаяния. Остров бесправия. Мертвый остров! – как называют его служащие на Сахалине.

Остров – тюрьма.

Если вы взглянете на карту Азии, то увидите в правом уголке вытянувшееся вдоль берега, действительно что-то похожее на чудовище, раскрывшее пасть и словно готовое проглотить лежащий напротив Мацмай.

И крутые паденья угольных пластов, и зигзагообразные, ломаные линии обнаженных слоев угольного сланца – все говорит, что здесь происходила когда-то великая революция.

Извивалась спина «чудовища». Гигантскими волнами колебалась земля. Волны шли с северо-востока на юго-запад.

Недаром сахалинские горы похожи действительно на огромные застывшие волны, а долины, или пади, как их здесь называют по-сибирски, напоминают собою пропасти, что разверзаются между волнами во время урагана.

Ураган кончен. Чудовище стихло и лишь по временам слегка вздрагивает – то там, то здесь.

Это – остров-нелюдим.

Он отделен от земли Татарским проливом, самым вспыльчивым, самым буйным, своим нравным, злобным проливом в мире.

Проливом, где зимой зги не видно в снежной пурге, а летом штормы сменяются густыми туманами, настолько густыми, что среди этой белой пелены еле мерещится верхушка мачты собственного парохода.

Идя этим проливом, штурманскому офицеру приходится спать урывками, по четверти часа, не раздеваясь.

Здесь штиль сменяется свирепым штормом в пять, десять минут.

Полный штиль, – вдруг засвистело в снастях, – поднимай, а то и руби якоря и уходи в море, если не хочешь быть вдребезги разбитым о камни.

Здесь море – предатель, а берег – не друг, а враг моряка. Здесь надо бояться и моря, и земли.

Сахалин не любит, чтобы останавливались у его крутых, обрывистых, скалистых берегов. На всем западном побережье ни одного рейда. Дно – гладкая и ровная плита, на которой вас не удержит в шторм ни один якорь.

И сколько пароходов пошло ко дну, похоронено в этом проливе!

Сахалин – суровый и холодный остров.

Его скалистый берег лижет холодное северное течение, в незапамятные времена пропавшееся Татарским проливом.

Здесь суровая, лютая зима. Здесь неделями продолжается пурга, крутит огромные снежные смерчи, по крышу засыпает дома.

Здесь безрадостная весна похожа на осень.

Короткое, холодное, туманное лето.

И только осень еще похожа на что-нибудь.

20 мая я приехал в Онор – дальнее поселье в самом центре острова, – а 21-го, проснувшись утром, увидел ясное, свежее, прекрасное зимнее утро.

За ночь выпал снег. Снежная пелена в пол-аршина покрывала все – крыши и землю, тюрьму и поселье. Снег продержался два дня и сошел только 23 мая. Вот то, что называется на Сахалине «климатом».

Извилистая спина «чудовища», словно дыбом вставшими иглами, покрыта густой хвойной тайгой.

Высокий, обрывистый, отвесный, неприступный берег, по которому зигзагами идут желтые пласты глины, дымчатые – угольного сланца, белые – песчаника. Кое-где проступает ржавчина железной руды.

А наверху – тайга.

Ели и сосны, оголенные, совсем лишенные ветвей с наветренной стороны. Они растут в одну сторону. Вершины сосен вытянулись по ветру, словно дым от паровой трубы. Словно эти великаны-деревья, вытянув руки, бегут от этого ужасного берега, от этого сурового, холодного, жестокого моря и ветра.

Заберемтесь вглубь.

Мертвая тишина. Только валежник хрустит под ногами. Остановишься – и ни звука. Ни птичьей песни, ни писка...

Жутко становится, как в пустой церкви.

Молчанье сахалинской тайги – это тишина заброшенного, оставленного храма, под сводами которого никогда не раздастся шепота молитвы.

Глубже в эту страну вечного молчания.

Вот уж и света не видно. Тьма кругом.

Словно огромный баобаб стоит на своих десятках стволов.

Это ветер сбил вершины сосен в одну огромную шапку, скотил их ветви и иглы. Образовалась плотная крыша, по которой, кажется, можно ходить!

Здесь давит. Здесь тяжело.

Здесь тяжело даже деревьям. Здесь больны даже эти гиганты. Их стволы искривлены огромными болезненными наплывами.

Вот вам картина природы Северного Сахалина.

30 лет тому назад здесь бродили медведи да гиляки – жалкие, несчастные дикари, вряд ли в умственном и нравственном отношении стоящие многим выше своих товарищей по тайге.

Недаром же гиляки верят, что у медведя такая же точно душа, как у гиляка, что душа медведя точно так же идет после смерти к «хозяину», богу тайги, жалуется ему на гиляков, и хозяин судит их как равных. Что медведь даже «женат на гилячке»! До того эти жалкие дикари ставят знаки духовного равенства между собой и медведями.

Теперь в этой стране медведей и гиляков кое-где разбросаны поселья.

Жалкие, типичные сахалинские поселья.

Дома для «правов», построенные только для того, чтобы иметь право получить крестьянство, брошенные, разоренные, полуразрушившиеся.

И здесь ни звука. То же вечное молчание.

– Да есть ли живой человек?

В двух-трех домах еще живут. Остальные – пустые.

– Ну, что? Как живете?

– Какая уж жизнь? Маемся.

– Садите, сеете что?

– Что здесь растет! Одна картошка, да и то с грехом пополам. Живут молча, угрюмо, каждый уйдя, замкнувшись в себя, тоскливо выжидая, когда кончится срок поселения, можно будет получить крестьянство и уйти «на материк».

Дальше, дальше от этой безотрадной стороны.

Тараторят, заливаются, стонут звонки под дугой.

Тройка низкорослых, приземистых, коренастых, крепких, выносливых, быстрых сахалинских лошадей с горки на горку, из пади в падь, несет нас вдоль острова к югу.

– Вот здесь застрелили Казеева (один из убийц Арцимовичей), – показывает вам ямщик. – Здесь в пургу занесло снегом женщину с ребенком... Сюда я намерен возил доктора – поселенца с дерева снимали... Повесился... Здесь в прошлом году зарезали поселенца Лаврова...

Обычная сахалинская дорога.

Картина природы меняется.

Безотрадная северная сахалинская сосна и ель уступают место веселой, приветливой лиственнице, начинающей уже покрываться своей мягкой, нежною, пахучею хвоей. Кое-где попадется невысокий кедр.

Забелели местами березовые рощицы. Березы еще не собираются распускаться, но их беленькие стволы так весело, нарядно, чистенько выглядят после суровой темно-зеленой одежды хвойного леса.

Ива, гибкая и плакучая, наклонилась над речкой, словно хочет рассмотреть что-то в ее быстрых струях.

По оврагам еще лежит снег, а по холмам, где пригревает солнышко, уж пышно распустился лопух.

И горы пошли более пологие, и пади шире.

Это уже не ущелья, не огромные трещины среди гор, а равнины, от которых веет простором.

И поселения встречаются все крупнее и крупнее. Величиной в хорошее торговое село.

И чаще на вопрос: «Ну, как живете?» – слышится ответ:

– Живем кое-как. Лето только больно коротенько.

По пути попадаются волы, запряженные в плуг.

В каждом селенье найдете двоих, троих, а то и больше зажиточных хозяев.

Это Тымовский округ, картина Среднего Сахалина.

Дальше начинается тундра – «тундра», как ее зовут сахалинцы.

Колеса вязнут, еле ворочаются в торфяной массе.

Ямщик слез и идет рядом, чтобы легче было лошадям.

Двигаемся еле-еле. От лошадей валит пар.

Пахнет вереском. От его удушливого, тяжелого запаха, похожего на запах кипариса, начинает болеть голова.

Вся тундра сплошь покрыта его красными кустиками. Словно кровь запеклась.

Тундра и тайга. И снова ни звука. Только дятел простучит да кукушка прокукует вдали.

Тоска, ноющая, щемящая, забирается в душу. Чем-то безотрадным веет кругом.

И не верится даже, что где-то на свете есть Италия, голубое небо, горячее солнце, что есть на свете и песня, и смех... И все, что приходилось видеть раньше, – все это кажется таким далеким, словно происходило где-то на другой планете, – кажется сном, невероятным, несбыточным.

Океан тундры и тайги. И в этом океане, как крошечные островки, – кусочки твердой земли. На этих островках прилепились было поселения. Люди попробовали жить, побороться, – не смогли и ушли.

Унылые, брошенные поселения. Так до Онора.

А дальше уж совсем идет топь, трясина, по которой еще проезжают на собаках зимой и нет возможности пробраться летом...

За этой полосой начинается Корсаковский округ – Южный Сахалин.

Разнообразие лиственных древесных пород. Климат сравнительно мягче.

Здесь все же легче дышится, живется.

Если вы взглянете на подобную карту, весь юг Сахалина испещрен черными точками – все поселения. Здесь все-таки можно стать ногой на твердую почву.

Здесь труд тяжелый немножко окупается.

Здесь уж ранняя весна.

Тянутся вереницами на север красавцы-лебеди.

Белая полоса тянется по морю версты на две от берега, словно молочная река, – идет, трется в водорослях и мечет икру сельдь.

Птицы свистят и перекликаются в тайге.

Здесь все-таки жизнь, все-таки солнце, все-таки свет.

Вот вам картины Сахалина.

Здесь воздух напоен тяжелыми вздохами. Здесь в ночном крике птицы чудится стон. Здесь много пролито крови этими несчастными, которые режут друг друга из-за грошей.

Здесь что ни уголок – то страшное воспоминание.

Здесь все дышит страданием. Здесь много было преступленья и труда.

Здесь все нужно взять с боя. Сахалинская почва ничего не родит, если на нее не капнут пот и слезы.

В глубине Сахалина таится много богатств. Могучие пласты каменного угля. Есть нефть. Должно быть железо. Говорят, есть и золото.

Но Сахалин ревниво бережет свои богатства, крепко зажал их и держит.

Он прекратит ваш путь непроходимой тайгой, он утопит вас в трясине своих тундр. Железом и огнем приходится здесь пробивать себе путь человеку, потом, кровью и слезами сдабривать почву, половину жизни отдавать на то, чтоб другую половину прожить хоть чуть-чуть сносно.

Вот что такое этот остров-тюрьма.

Природа создала его в минуту злобы, когда ей захотелось создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое.

Трудно представить себе лучшие тюремные стены, чем Татарский и Лаперузов проливы.

Правда, бегают и через тот, и через другой. Но разве есть на свете такая тюремная стена, через которую не перешагнул бы человек, ставящий волю выше жизни!

Однако природа была слишком жестока, создавая этот остров-тюрьму.

Идти в ясную погоду по берегу постылого острова и ясно видеть через пролив противоположный берег, который дразнит и манит, уходя вдаль своими голубоватыми очертаниями!

Сознавать, что это так близко и так недостижимо. Какую муку создала сама природа!

## Первые впечатления

Первое впечатление всегда самое сильное.

И, конечно, я никогда не забуду минуты, когда я ранним утром на зыбком, с бока на бок переваливающемся паровом катере подъезжал к пристани Корсаковского поста.

На берегу копошились люди.

Еще несколько шагов – и я погружаюсь в это море, которое мне так страстно, так мучительно хочется знать.

Море чего?

Странное дело, от двух впечатлений я никак не мог отделаться в течение трех с половиной месяцев, которые я провел среди тюремной обстановки. Два впечатления давили, гнули, свинцом лежали на душе. Давят и гнетут еще и теперь.

Одно из них касается собственно самого пути до Сахалина.

Я никак не мог отделаться от этого сравнения. Наш пароход, везший каторжников из Одессы, казался мне огромной баржой, какие обыкновенно употребляются в приморских городах для вывозки в море отбросов. А эти серевшие на берегу сахалинские посты и поселения казались мне просто-напросто колоссальными местами свалок.

И тяжело становилось на душе при мысли о том, что там, внизу, в трюме, под вашими ногами, что рядом с вами окончательно перегнивает все человеческое, что еще осталось среди этих «отбросов».

Второе впечатление касается собственно Сахалина.

С первых же шагов, при виде этого унылого, подневольного труда, этого снятия шапок, мне показалось, что я перенесся лет на 50 назад.

Что кругом меня просто-напросто крепостное право.

И чем больше я знакомился с Сахалином, тем это впечатление все глубже и глубже ложилось в мою душу, это первое сравнение казалось мне все вернее и вернее.

Тот же подневольный труд, те же люди, не имеющие никаких прав, унижительные наказания, те же дореформенные порядки, бесконечное «бумажное» производство всяких дел, тот же взгляд на человека как на живой инвентарь, то же распоряжение человеком «по усмотрению», сожительства, заключаемые, как браки при крепостном праве, не по желанию, не по влечению, а по приказу, взгляд многих на каторжного как на крепостного, – все, кончая «декоративной стороной» крепостного права, обязательным ломаньем шапки, – все создавало полную иллюзию «отжитого времени». И как тяжело дышалось, как тяжело, если бы вы знали!

Желание исполнено.

Пройдя пристань, я очутился в толпе каторжных.

На берегу шли работы.

Человек семьдесят каторжников, кто в арестантской, кто в своей одежде, спускали в море баржу для разгрузки парохода.

Пели «Дубинушку», и под ее напев баржа еле-еле, словно нехотя, ползла с берега.

Рядом с ней, на другой барже, стоял запевала, мужичонка в рваной арестантской куртке, всклокоченный, встрепанный, жалкий, несчастный, и надтреснутым, дребезжащим тенорком запевал «Дубинушку», говорившую о необычайной изворотливости, сверхъестественной находчивости его цинизма.

Какой-то цинизм, доходивший не до грани, а до виртуозности.

Все это было, конечно, не то, чтобы вызвать смех. И никто не улыбался.

Слушали равнодушно, даже скорее вовсе не слушали, пели припев, кричали «ух» лениво, нехотя, словно и это тоже была подневольная работа.

Потом я попривык, но первое впечатление подневольного труда – впечатление тяжелое, гнетущее.

Рядом вытаскивали невод.

Тащили тяжело, медленно, нехотя.

В вытащенном неводе билась, прыгала, трепетала масса рыбы.

Чего, чего там не было! Колоссальные бычки, которых здесь не едят, продолговатые с белым, словно белилами покрытым брюшком глосы, которых тоже здесь не едят, извивающиеся, как змеи, миноги, которых здесь точно так же не едят, и мелкая дрянная рыбешка, которую здесь едят.

Все стояли вокруг невода, а двое или трое отбирали годную рыбу от негодной с таким видом, словно они ворочали камни.

Всю дорогу от пристани до поста, вдоль берега моря, навстречу попадались поселенцы, машинально, как-то механически снимавшие шапки.

Рука уставала отвечать на поклоны, и я был искренне признателен тем «дерзунам», которые не удостаивали мою персону этой каторжной чести.

Поселенцы бродили как сонные мухи. Бродили, видимо, безо всякой цели, безо всякого дела.

– Так, мол, пароход пришел. Все-таки люди.

Если там, у рабочих, на лицах читалась какая-то тяжесть, то здесь была написана страшная, гнетущая, безысходная скука.

Тоска.

Такое состояние, когда человек решительно не знает, что ему с собой делать, куда девать свою особу, чем ее занять, и провожает глазами все, что мелькнет мимо: муха ли большая пролетит, человек ли пройдет, собака ли пробежит.

Посмотрит вслед, пока можно уследить глазами, и опять на лице тоска.

Песня?..

Дрожки, на которых я еду, поворачивают на главную улицу поста и огибают наскоро сколоченный дощатый балаган (дело происходило на Пасхе).

Рядом пустыня, какие-то ободранные качели.

У входа, вероятно, судя по унылому виду, – антрепренер.

Около – толпа скучающих поселенцев, без улыбки слушающих площадные остроты ломающегося на балконе намазанного, одетого в ситцевый балахон клоуна из ссыльнокаторжных.

Из балагана слышится песня.

Нестройно, дико орет хор песенников.

Зазвенели кандалы. Мимо балагана проходят арестанты кандалной тюрьмы под конвоем...

Мы въезжали на главную улицу поста.

С первого взгляда Корсаковск всегда и на всех производит подкупающее впечатление.

Ничего как будто похожего на каторгу.

Чистенький, маленький городок.

Чистенькие, приветливые чиновничьи домики словно разбежались и со всего разбега двумя рядами стали по высокому пригорку.

Выше всех взбежала тюрьма.

Но тюрьма в Корсаковске не давит.

Она одноэтажная, невысокая и, несмотря на свое «возвышенное» положение, не кидается в глаза, не доминирует, не командует над местностью.

В глубину двух оврагов, по обоим бокам холма, словно свалились лезшие по косогору, да недолезшие туда домики.

Это слободки поселенцев.

В общем, во всем этом нет ничего ни страшного, ни мрачного.

И вы готовы прийти в восторг от «благоустройства», проезжая главной улицей Корсаковска, готовы улыбнуться, сказать:

– Да все это очень, очень, как нельзя более мило...

Но подождите!

Сахалин – это болото, сверху покрытое изумрудной, сверкающей травой.

Кажется, чудный лужок, а ступили – и провалились в глубокую, засасывающую, липкую, холодную трясиину.

Не успело с ваших уст сорваться «мило», как из-за угла зазвенели кандалы.

Впрягшись в телегу, ухватившись за оглобли, каторжные везут навоз.

И что за удручающее впечатление производят эти люди, исполняющие лошадиную работу.

Ваш путь идет мимо тюрьмы – из-за решеток глядят темные, грязные окна.

Впереди – лазарет, и как раз против его окон – покойницкая.

## Лазарет

Затем, в Александровске, в Рыковском я видел вполне благоустроенные больницы для каторжан; но что за ужасный уголок, что за «злая яма» дантовского ада – эта больница в Корсаковском посту.

Я знаю все сахалинские тюрьмы. Но самая мрачная из них – Корсаковский лазарет.

Чесоточный, больной заразительной болезнью, которую неприятно называть, и хирургический больной лежат рядом.

Около них бродит душевнобольной киргиз Наур-Сали.

Как и у большинства сахалинских душевнобольных, помешательство выражается у него в мании величия.

Это протест духа. Это благодетание болезни.

Всего лишенные, бесправные, нищие, они воображают себя правителями природы, несметными богачами – в крайнем случае хоть зрителями или надзирателями.

Киргиз Наур-Сали принадлежит к несметным богачам.

У него неисчислимые стада овец и верблюдов. Он получает несметные доходы... Но он окружен врагами.

Тяжелая, угнетающая сахалинская обстановка часто развивает манию преследования.

Временами Наур-Сали кажется, что на его стада нападают стаи волков, что в степном ковыле подползают хищники. Что стада разбегаются. Что он близок к разорению. Тогда ужас отражается на перекошенном и беспрестанно дергающемся лице Наур-Сали (он эпилептик и страдает Виттовым плясом), он мечется из стороны в сторону, с криком бежит по палатам, залезает под кровати больных, сдергивает с них одеяла – ищет своих овец. И я прошу вас представить положение больного с переломленной, положенной в лубки ногой, когда сумасшедший Наур-Сали с воем сдергивает с него одеяло.

– Почему же их не разместят?

– Да куда же я их дену?! – с отчаянием восклицает молодой симпатичный лазаретный врач господин Кириллов.

В лазарете тесно, в лазарете душно.

За неимением места в палатах больные лежат в коридорах. «Приемный покой» для амбулаторных больных импровизируется каждое утро. В коридоре, около входной двери, ставится ширма, чтобы защитить раздевающихся больных от холода и любопытства беспрестанно входящих и выходящих людей.

– Вообразите себе, как это удобно зимой, в мороз, смотреть больных около входной двери, – говорит доктор.

Да оно и весной недурно.

Вся обстановка Корсаковского лазарета производит удручающее впечатление. Грубое постельное белье невероятно грязно. Больным приходится разрешать лежать в своем белье.

– На казенные рубахи полагается мыло, но я руку даю на отсечение, что они его не видят! – с отчаянием клянется доктор.

Вентиляции никакой. Воздух сперт, душен, – прямо мутит, когда войдешь. Я потом дня два не мог отделаться от этого тяжелого запаха, которым пропиталось мое платье при этом посещении.

О какой-нибудь операционной комнате не может быть и помина. Для небольших операций больных носят в военный госпиталь. Для более серьезных – отправляют в пост Александровский, отрезанный от Корсаковского в течение полугода. Представьте себе положение больного, которому необходимо произвести серьезную операцию в ноябре, – первый пароход в Александровск, «Ярославль», пойдет только в конце апреля следующего года!

Когда я был в Корсаковском лазарете, там не было... гигроскопической ваты.

Для перевязки ран варили обыкновенную вату, просушивали ее здесь же, в этом воздухе, переполненном всевозможными микробами и бациллами.

– Все, чем мы можем похвалиться, – это нашей аптекой.

Благодаря заботливости и настояниям заведующего медицинской частью, доктора Поддубского, у нас теперь богатый выбор медикаментов! – со вздохом облегчения говорит доктор.

Вернемся, однако, к больным.

Что за картины – картины отчаяния, иллюстрации к дантовскому чистилищу.

С потерявших свой первоначальный цвет подушек смотрят на нас желтые, словно восковые, лица чахоточных.

Лихорадочным блеском горящие глаза.

Вот словно какой-то гном, уродливый призрак.

Лицо – череп, обтянутый пожелтевшей кожей. Высохшие, выдавшиеся плечевые кости, ключицы и ребра и неимоверно раздутый голый живот. Белье не налезает.

Страшно смотреть.

Несчастный мучается день и ночь, не может лечь – его «заливает». Чахотка в последнем градусе, осложненная водянкой.

И столько муки, столько невыносимого страдания в глазах.

Несчастный – этот тонущий в воде скелет – что-то шепчет при нашем проходе.

– Что ты, милый? – нагибается к нему доктор.

– Поскорей бы! Поскорей бы уж, говорю! Дали бы мне чего, чтобы поскорее! – едва можно разобрать в лепете этого задыхающегося человека.

– Ничего! Что ты! Поправишься! – пробует утешить его доктор.

Еще большая мука отражается на лице больного. Он отрицательно качает головой.

Тяжело вообще видеть приговоренного к смерти человека, а приговоренного к смерти здесь, вдали от родины, от всего, что дорого и близко, – здесь, где ни одна дружеская рука не закроет глаза, ни один родной поцелуй не запечатлется на лбу, – здесь вдвое, вдесятеро тяжелее видеть все это.

Вот больной, мужчина средних лет, ранняя проседь в волосах. Красивое, умное, интеллигентное лицо.

Чем он болен?

Не надо быть доктором, чтобы сразу определить его болезнь по лихорадочному блеску глаз, по неестественно яркому румянцу, пятнами вспыхивающему на лице, по крупным каплям пота на лбу.

Это ссыльнокаторжный из бродяг, «не помнящий родства», учитель из селения Владимировка.

– Вы и в России были учителем?

– Был и учителем... Чем я только не был! – с тяжелым вздохом говорит он, и печаль разливается по лицу.

Тяжко вспоминать прошлое здесь...

А вот продукт каторжной тюрьмы, специально «сахалинский больной».

Молодой человек, казалось бы, такого здоровенного, крепкого сложения.

У него скоротечная чахотка от истощения.

Перед вами жиган – каторжный тип игрока. Игра – его болезнь, больше чем страсть, единственная стихия, в которой он может дышать.

Его потухшие глаза на все смотрят равнодушным, безразличным взглядом умирающего и загораются лихорадочным блеском, настоящим огнем только тогда, когда он говорит о игре.

Он проиграл все: свои деньги, казенную одежду. Его наказывали розгами, сажали в карцер – он играл. Он проигрывал самого себя, проигрывал свой труд и нес двойную каторгу, работая и за себя, и за того, кому он проиграл.

Он *месяцами* сидел голодный, проиграв свой паек хлеба чуть не за год вперед, и питался «в одну ручку» – жидкой похлебкой – баландой без хлеба.

Его били жестоко, неистово; чтобы играть, он воровал все что ни попадало.

В конце концов он нажил истощение, скоротечную чахотку.

Он и тут, в лазарете, играл с больными, проигрывая свою порцию, но его скоро «накрыли» и игру прекратили. Он проигрывал даже свои лекарства.

Сахалинским больным все кажется, что им жалеют лекарства и дают слишком мало. Они охотно покупают лекарства друг у друга.

А вокруг этого несчастного такие же больные, умирающие, которые не прочь у умирающего выиграть последний кусок хлеба.

Вот отголоски зимнего сезона.

Люди, отморозившие себе кто руки, кто ноги, иные на работах в тайге, другие во время бегов.

Они разматывают свое тряпье, – и перед нами засыпанные иодоформом руки, ноги без пальцев, покрытые мокнущими ранами, покрывающиеся струпиями.

Их стоны, когда приходится ворочаться с боку на бок, смешиваются с бредом, идиотским смехом, руганью умалишенных.

Вот интересный больной, Иоркин, бывший моряк, эпилептик.

Ломброзо непременно снял бы с него фотографию и поместил в свою коллекцию татуированных преступников.

Иоркин татуирован с головы до ног.

На его груди выгравировано огромное распятие. Руки покрыты рисунками якорей и крестов, символами надежды и спасения, текстами Священного Писания.

У Иоркина религиозное помешательство, соединенное, по сахалинскому обыкновению, с бредом величия.

– Мне недолго здесь быть, – говорит он, и глаза его горят экстазом. – Меня ангелы возьмут и унесут.

А вот жертва, лишенная семьи.

Карпов, донской казак, из Новочеркасска. Сегодня он что-то весел, все время улыбается, и с ним можно говорить.

Он говорит охотно только на одну тему – о своей оставленной на родине семье: о братьях, матери, отце, жене. Как они живут, про их хозяйство. Говорит с увлечением, весь сияя от этих воспоминаний. Это самые светлые для него минуты. Обыкновенно же его состояние – состояние тяжелой хандры, задумчивости. Он меланхолик.

Он боится нападения чертей, которые хотят соблазнить его на нехорошее поведение. Он воздержанник и соблюдает себя для семьи, а по ночам ему снятся женщины, которые являются его прельщать. Их посылают черти.

– Тут много чертей! – выкрикивает он своим тоненьким, пронзительным голосом и лезет под кровать посмотреть: нет ли их там.

– Есть! Есть! Вот они!

Начинается припадок.

Берегите ваши карманы. Рядом все время трется Демидов, клептоман, один из несчастнейших людей на каторге.

Его били смертным боем товарищи, и секло начальство, а он все продолжал оставаться «неисправимым». Ему еще недавно дали 52 лозы, как вдруг, к общему изумлению, доктор Кириллов взял этого «неисправимого негодяя» в лазарет.

– Ах, вон оно что! – ахнули все. – Он сумасшедший! А мы-то его исправляли. А вот жертва наших больниц, жертва их страсти к «поспешной выписке». Это бродяга Немой.

– Семен Михайлович! Как поживаешь? – спрашивает доктор.

Семен Михайлович улыбается бессмысленной улыбкой и смотрит куда-то в угол.

– Да он что? Действительно немой?

– Нет, он страдает одной из форм афазии, он не может говорить, не в состоянии отвечать на вопросы.

И только улыбается своей бессмысленной, беспомощной, жалкой, страдальческой улыбкой.

В одну из минут просветления, когда к нему ненадолго вернулась способность речи, он рассказал доктору свою историю.

Он не бродяга. Он крестьянин Новгородской губернии Семен Михайлов Глухаренков. У него на родине есть семья. Жил он в Петербурге на заработках, заболел тифозной горячкой, лежал в больнице. Из больницы его выписали слишком рано, чересчур слабым. Денег не было ни гроша, паспорт был отослан на родину «менять», приходилось идти пешком. Едва выйдя за заставу, он «потерял сознание», а затем с ним «это и случилось». Его держали в полиции, судили, – на все вопросы он молчал. И пошел на полтора года в каторгу, а затем на поселение на Сахалине как «бродяга Немой».

Вот та маленькая повесть, которую успел рассказать Семен Глухаренков доктору в минуту просветления, – и снова на его лице заиграла тихая, скорбная улыбка.

Над всем этим – над трагическим молчанием «бродяги Немого», над тихими стонами, вырывающимися из глубины души, над тяжкими вздохами, перебранкой больных, над рассказами жигана об игре, над звуками удушливого кашля чахоточных, – звуками, в которых вы слышите, как у людей на куски разрываются легкие, над бредом и идиотским смехом помешанных, – над всем этим царит вечный, непрестанный крик сумасшедшего старого солдата.

В Корсаковском лазарете нет места, где бы до вас не доходил этот ужасный, все нервы выматывающий крик.

Он отравляет последние минуты умирающих в маленькой отдельной камерке.

Зайдем туда.

На постели лежит человек... тень, призрак человека... Не бледное, а белое, словно молоком вымазанное лицо.

Дыхание с хрипом и свистом вырывается из груди. Он задыхается.

Доктор, дававший мне объяснения по поводу каждого больного, тут сказал только:

– Сами видите!

– Доктор... доктор... – еле переводя дух, говорит больной, и в самом тоне его просьбы звучит что-то детское, беспомощное, жалкое, хватающее за душу, – доктор... выпиши ты, ради Господа Бога, мяты... С мяты я поправлюсь.

– Хорошо, хорошо, голубчик! Выпишу тебе мяты, – успокаивает его доктор.

– То-то!.. С мяты... я... живо...

К вечеру он умер.

Из камерки умирающего мы проходим узеньким коридорчиком к сумасшедшему солдату.

В коридорчике при нашем проходе звенят кандалы. Со скамьи встают двое кандалных.

– Что такое? Больные?

– Никак нет. Для освидетельствования на предмет телесного наказания! – рапортует надзиратель.

В маленькой «изоляционной» комнатке доживают свой век двое.

Старый каторжник из солдат, который на вопрос, сколько он в своей жизни получил плетей и розг, отвечает:

– Семьдесят два миллиона, ваше сиятельство!

Он воображает себя то фельдфебелем, то фельдмаршалом, и вся его жизнь отражается в его мрачном помешательстве.

Он только и делает, что приговаривает людей к смерти или к плетям.

– Вот этот, – кричит он, указывая на служителя и вытаскивая изодранную «сумасшедшую рубаху», – связать меня хотел! Повесить его в двадцать четыре часа! А этому смерть отменяется, – шестьдесят тысяч плетей без помощи врача!

Живо!

На другой кровати, скорчившись, спит единственное существо, которое не приговаривает ни к смерти ни к плетям, – старый, свирепый солдат, зовут его Чушка.

Слепой, слабоумный старик.

– Чушка, вставай! – кричит солдат и выщипывает у Чушки несколько волосков из бровей.

Чушка взвизгивает, просыпается и открывает свои ничего не видящие глаза.

– Чушка, жрать хочешь? Но Чушка не отвечает. Услыхав голос доктора, он что-то сообщает.

– Доктор, а доктор!

– Что тебе?

– Сделай мне новые глаза.

– Хорошо, сделаю!

– Сделаешь? Ну, ладно. И Чушка снова засыпает сном слабоумного старика.

– Не хочешь жрать, Чушка? Это она при надзирателе не хочет! Повесить надзирателя сию минуту! Станови виселицу!

Палача! Плетей! – вопит старый солдат.

Перейдем в женское отделение. Тут несколько чище.

– Все-таки женщины! – объясняет акушерка.

Родильницы лежат с двумя идиотками, которые, улыбаясь, говорят о женихах.

Обычный женский бред на Сахалине.

К доктору подходит душевнобольная молоденькая бабенка Ненила, прифранченная, нарядно одетая.

– Доктор, скоро меня выпишешь-то?

– Тебе зачем?

– Боюсь, как бы надзиратель-то другую не взял.

– А ты что прифрантилась?

– Да к нему идти было собралась! Ненила смеется.

– Никакого у нее надзирателя нет. Бред! – потихоньку объясняет мне доктор. – Ты вот лучше, Ненилушка, расскажи барину, за что сюда попала! Ему хочется знать.

Лицо Ненилы сразу становится грустным.

– Впутали меня, ох, впутали! Все он впутал, изверг, чтоб вместе шла! Впутал, а потом где он, ищи его! И должна я одна быть...

Ненила начинает плакать.

– Да ты не плачь. Расскажи, как было?

– Как было-то, обыкновенно было! Купец-то сидел, вот так-то. Пьяный купец-то. Борода-то на столе! – Ненила смеется. – Я-то около купца, все ему подливаю: «Пей, мол, такой-сякой, намазанный!» А он-то сзади подкрадывается... Подкрался к купцу, – пьяный, пре-

пьяный купец! Я его за руки поймала, держу. А он его за бороду хватъ – назад оттянул, – да по горлу как чирк! Ай!

Ненила вскрикивает. Быть может, в эту-то страшную минуту и «потеряла равновесие» ее психика.

– Кровь-то в стенку, в меня полилась, полилась... Корчился купец-то, жалостно так... Жалостно...

Ненила начинает хныкать, утирать рукавом слезы – и вдруг раздражается смехом.

– Чего ж я реву-то, дура? Вот дура, так дура! И самой смешно. Реву, девоньки, и сама не знаю о чем! Доктор, пустите меня к надзирателю.

– Дай ты мне капелек-те, от зубов-те! – подходит к нам другая душевнобольная.

Несчастливая, сосланная в каторгу за мужеубийство. Она потеряла психическое равновесие в первую брачную ночь.

– С женщинами это бывает... Рано зумуж отдали... Может быть, муж спяна обошелся очень уж грубо, – поясняет доктор.

– Спортили нас-те! – жалобно рассказывает она, – взяли-те да в постелю кровищи-те налили. Я как увидала-те, он мне и отошнел... Отошнел-те, я его и зарезала.

Во всей ее позе что-то страдальческое, угнетенное.

У нее, в сущности, не болит ничего. Но все-таки остаток сознания требует отчета, почему она в таком угнетенном состоянии. И несчастная сама выдумывает причины: то жалуется на зубную боль, то через пять минут начинает жаловаться на боль в пояснице.

– Третий день-те разогнуться не могу! Болит-те!

– А зубы?

– Зубы ничего-те. Поясница вот!

– Видите, при каких условиях приходится работать, – со вздохом говорит доктор.

Я не думаю, чтобы доктора Кириллова надолго хватило на борьбу с разными сахалинскими, истинно каторжными условиями.

Очень уж у него в несколько месяцев расхотелись нервы.

Сколько народу бежало отсюда, народу, приходившего сюда с горячим желанием принести посильную помощь страдающим!

И это будет очень жаль.

Такие люди, люди знания, люди дела, люди просвещенные, люди гуманные, люди честные, с чуткой, доброй, отзывчивой душой, – такие-то люди и нужны Сахалину.

Людей плохих много и в пароходном трюме каждый год присылают.

## Каторжное кладбище

От Корсаковского лазарета недалеко до кладбища.

Проедем к маяку.

Кладбище расположено на горе около Корсаковского маяка.

– Нет уж, ваше высокое благородие, видать, мне к маяку пора! – говорил один тяжкий больной утешавшему его доктору.

Что эта за странная процессия взбирается по косогору?

Десяток каторжных, уцепившись за оглобли, подталкивая сзади, тащат телегу, на которой лежат большой, белый, неуклюжий, некрашенный гроб и лопата.

Сзади со скушающим видом идет посланный смотреть за каторжниками надзиратель, с револьвером на шнурке.

Вот и вся похоронная процессия.

– Ну! Ну! Наддай! – покрикивают каторжные.

Вот и все похоронное пение.

Что-то щемящее, что-то хватающее за душу есть в этой картине сахалинских похорон... Эта телега, этот надзиратель, эти серые куртки...

Единственное лицо, которое могло бы проводить покончившего свои дни несчастного в место последнего упокоения, – тоже лежит в могиле.

Хоронят поселенца.

Из ревности он зарезал сожительницу и сам убежал из дома и отравился борцом. Его труп уж через несколько дней нашли в тайге.

Борец – ядовитое растение, растущее в Корсаковском округе, на юге Сахалина. Корень борца там имеется «на всякий случай» у каждого каторжного, у каждого поселенца. Мне показывали этот корень многие.

– Да на кой вам шут держать эту дрянь?

– Такое уж заведение... На всякий случай... Может, и понадобится! – отвечали поселенцы с улыбкой, какой не дай Бог, чтобы улыбался человек.

Сойдем, проводим.

Телега медленно вползла на гору.

Ее подвезли к первой выкопанной могиле. На веревках опустили гроб. Достали с телеги лопаты, поплевали на руки, – и застучала земля по гробовой крышке.

Застучала сильно: здесь почва глинисто-каменистая. Не земля, а словно какой-то щебень, битый кирпич навален около вырытых могил.

Глуше и глуше шумит земля... Маленький холмик вырос над могилой. В него воткнули наскоро сколоченный из двух планок некрашенный крест без надписи.

Кто перекрестился, а кто и нет, – и взялись за телегу.

– Теперича ходчее пойдем!

Пошли бегом и скрылись за спуском.

– Тише, черти! – доносится отчаянный голос запыхавшегося надзирателя.

– Легче! Легче!.. – слышится под горой.

Мы среди безыменных могил.

– Что это? Неужели в лазарете так много покойников, – с изумлением смотрю я на массу вырытых ям.

– Никак нет! – снимая шапку, отвечает кучер-каторжный.

– Да надень ты шапку, Бога ради! На кладбище все равны.

– Никак нет, ваше высокоблагородие. Это про запас ямы приготовлены. Делать-то было нечего, пароходы не приходили, – вот и посылали ямы копать. А то горячка пойдет, люди на работы нужны будут – не до ямы!

Что за унылая картина!

Маленькие холмики, на которых торчат только какие-то палки вместо крестов. Почти ни на одной могиле цельного креста. А на большинстве и совсем ничего нет.

– Кто это?

Поселенцы на подтопку таскают. Кому же больше? В тайгу-то идти лень. Вот отсюда и тащат.

Вот могила, – хоронила все-таки, должно быть, заботливая, может быть, родная рука. В крест был вделан образ.

Крест уцелел, а образ выломан.

И молится теперь перед этим выломанным из могильного креста образком какой-нибудь поселенец в грязной, темной, пустой избушке.

– Может, кто выломал да в карты спустил. Копейках в двух образок пошел! – словно угадывая ваши мысли, говорит кучер.

И над всеми этими маленькими, безвестными, безыменными могильными холмами царит, возвышается за высокой оградой массивный чугунный крест над высокой, камнем обделанной могилой купца Тимофеева.

– Зарезали его! – поясняет кучер.

– За что зарезали?

– За деньги.

И подумав, объясняет более пространно:

– Деньги у него, сказывают, были. За это самое и зарезали. Здесь это недолго...

Уйти бы поскорей с этого безотрадного и во всем мире и даже на Сахалине кладбища.

Но тут должна быть одна «святая могила».

Могила Наумовой, молодой девушки, учительницы, основательницы Корсаковского приюта для детей ссыльнокаторжных.

Она училась в Петербурге, бросила все и приехала сюда, увлеченная святой мыслью, горя великим святым желанием отдать жизнь на служение, на помощь этим бедным, несчастным, судьбою заброшенным сюда детям преступных отцов.

У нее были широкие планы, она мечтала о ремесленных классах для детей, о воскресных школах для каторжных, о чтениях...

Она работала всей душой, энергично, горячо отдаваясь делу. Ей удалось кое-что сделать. Корсаковский приют ей обязан своим возникновением.

Но слабой ли девушке было бороться с сахалинской черствостью, с сахалинской мертвечиной, с сахалинским равнодушием к страданиям ближнего.

Молодая девушка не вынесла борьбы с господами служащими, враждебно смотревшими на ее «затеи», не вынесла тяжелой атмосферы каторги и застрелилась, оставив две записки.

Одну: «Жить тяжело». В другой просила все ее скудные достатки продать и деньги отдать на ее детище – на приют.

Их прибыло одновременно три – три подруги, увлеченные идеей принести посильную помощь страждущим; одна застрелилась, другая сошла с ума, третья<sup>1</sup>... вышла замуж за бывшего фельдшера, из ссыльных. Так разное и, в сущности, одинаково кончили все три. Да и трудно было устоять в непосильном труде!

---

<sup>1</sup> У нее мать была сослана в каторгу. – Здесь и далее примеч. автора.

Корсаковская «интеллигенция» устроила Наумовой торжественные похороны, хотя сахалинская сплетня, сахалинская клевета, уж никак не могущая понять, что можно жизнь свою отдавать какой-то каторге, даже в могиле не пощадила покойной страдальцы.

Эта могила... Она должна быть здесь... Но где она?

Искал, искал – не нашел.

– Должно быть, там! – говорили мне господа «интеллигенты».

А ведь со смерти Наумовой прошло еле-еле два года!

Приамурский генерал-губернатор прислал на могилу Наумовой чудный металлический венок с прекрасной надписью на медной доске.

Этот венок висит... в полицейском управлении.

Повесить нельзя. Украдут!

Да и где бы они могли его повесить?

Такова «долженствующая быть» святая могила среди безвестных грешных могил.

## **Тюрьма**

Тюремный день начинается с вечера, когда производится наряд – распределение рабочих на работы. Так мы и начнем наш день в тюрьме.

## Наряд

Тюремная канцелярия. Обстановка обыкновенного участка. Темновато и грязно.

Писаря из каторжных скрипят перьями, пишут, переписывают бесконечные на Сахалине бумаги: рапорты, отношения, доношения, записки, выписки, переписи.

При выходе смотрителя тюрьмы все встают и кланяются.

Старший надзиратель подает смотрителю готовое уже распределение на завтра каторжных по работам.

– На разгрузку парохода столько-то. На плотничьи работы столько-то. На таску дров, бревнотасков... В мастерские... Вот что, паря, тут Икс Игрекович Дзет просил ему людей прислать огород перекопать.

– Людей нет, ваше высокоблагородие. Люди все в расходе.

– Ничего. Пошли шесть человек. Показать их на плотничьих работах. Да, еще Альфа Омеговна просила ей двоих прислать. Отказать невозможно. А тут этот контроль теперь во все суется: покажи ему учет людей. Просто, хоть разорвись! Ну да ладно, пошли ей двоих, из тех, что на разгрузку назначены...

Наряд кончен.

Начинается прием надзирателей.

– Тебе что?

– Иванов, ваше высокоблагородие, очень грубит. Ты ему слово, он тебе десять. Ругается, срамит!

– В карцер его. На три дня на хлеб и воду. Тебе?

– Петров опять буянит.

– В карцер! Все?

– Так точно, все-с.

– Зови рабочих.

Входит толпа каторжных, кланяются, останавливаются у двери. Среди них один в кандалах.

– Ты что?

– Подследственный. Приговор, что ли, объявлять звали.

– А! Ступай вон к писарю. Васильев, прочитай ему приговор. Писарь встает и наскоро читает, бормочет приговор.

– Приамурский областной суд... Принимая во внимание... самовольную отлучку... с продолжением срока... на десять лет! – мелькают слова. – Грамотный?

– Так точно, грамотный!

– Распишись.

Кандальный так же лениво, равнодушно, как и слушал, расписывается в том, что ему прибавили десять лет каторги.

Словно не о нем идет и речь.

– Уходить можно? – угрюмо спрашивает кандальный.

– Можешь. Иди.

– Опять убежит, бестия! – замечает смотритель.

По правилам каторги, «порядочный» каторжник всякий приговор должен выслушивать спокойно, равнодушно, словно не о нем идет речь. Не показывая ни малейшего волнения. Это считается «хорошим тоном». В случае особенно тяжкого приговора каторга разрешает, пожалуй, выругать суд. Но всякое «жалостливое» слово вызвало бы презрение у каторги. Вот откуда это «равнодушие» к приговорам. В сущности же, эти продления срока за «отлучки»

их сильно волнуют и мучат, кажутся им чересчур суровыми и несправедливыми. «За семь дней – да десять лет!» Я сам видал каторжника, только что преспокойно выслушавшего приговор на пятнадцать лет прибавки. Разговаривая вдвоем, без свидетелей, он без слез говорить не мог об этом приговоре: «Погибший я теперь человек! Что ж мне остается теперь делать? Навеки уж теперь». И столько горя слышалось в тоне «каналы», который и «глазом не моргнет», слушая приговор.

– Тут еще приговор есть. Федор Непомнящий кто?

– Я! – отзывается подслеповатый мужичонка.

– Ты хлопотал об открытии родословия?

– Так точно.

– Ну, так слушай. Писарь опять начинает бормотать приговор.

– Областной суд... заявление Федора Непомнящего... осужденного на четыре года за бродяжество... признать его ссыльнопоселенцем таким-то... принимая во внимание несходство примет... глаза у Федора Непомнящего значатся голубые, а у ссыльнопоселенца серые... нос большой... постановил отклонить... Слышал, отказано?

– Носом, стало быть, не вышел? – горько улыбается Непомнящий. – Выходит теперь, что и я не я!..

– Грамотный?

– Так точно, грамотный. Только по вечерам писать не могу. Куриная слепота у меня. Меня и сюда-то привели.

– Ну, ладно! Завтра подпишешь! Ступай.

– Стало быть, опять в тюрьму?

– Стало быть!

– Эх, Господи! – хочет что-то сказать Непомнящий, но удерживается, безнадежно машет рукой и медленно, походкой слепого, идет к толпе каторжных.

Ни на кого ни приговор, ни восклицание не производят никакого впечатления. На каторге «каждому – до себя».

– Вы что? – обращается смотритель к толпе каторжных.

– Срок окончили.

– А! На поселение выходите? Ну, паря, до свиданья. Желаю вам. Смотрите, ведите себя чисто. Не то опять сюда попадете.

– Покорнейше благодарим! – кланяются покончившие свой срок каторжане.

– Опять половина скоро в тюрьму попадет! – успокаивает меня смотритель. – Тебе что? Толпа разошлась. Перед столом стоит один мужичонка.

– Срок кончил сегодня, ваше высокоблагородие. Да не отпускают меня. С топором у меня...

– Топор у него пропал казенный, – объясняет старший надзиратель.

– Пропил, паря?

– Никак нет. Я не пью.

– Не пьет он! – как эхо подтверждает и надзиратель.

– Украли у меня топор-от.

– Кто же украл? Ведь знаешь небось? Мужичонка чешет в затылке.

– Нешто я могу сказать кто. Сами знаете, ваше высокоблагородие, что за это бывает, кто говорит.

– Ведь вот народец, я вам доложу! – со злостью говорит смотритель. – Воровать друг у друга – воруют, а сказать – не смей! Что ж, брат, не хочешь говорить – и сиди, пока казенный топор не найдется. Большой срок-то у тебя был?

– Десять годов!

– Позвольте доложить, – вступается кто-то из писарей, – деньги тут у него есть заработанные, немного. Вычесть, может, за топор можно.

– Так точно, есть, есть деньги! – как за соломинку утопающий, хватается мужичонка. На лице радость, надежда.

– Ну, ладно! Так и быть. Зачтите за топор. Освободить его!

Ступай, черт с тобой!

– Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!

И «напутствованный» таким образом мужичонка идет «вести новую жизнь».

Его место перед столом занимает каторжник в изорванном бушлате, разорванной рубахе, с подбитой физиономией.

– Ваше высокоблагородие! Явите начальническую милость! Не дайте погибнуть! – не говорит, а прямо вопиет он.

– Что с ним такое?

– Опять побили его! – докладывает старший надзиратель.

– Вот не угодно ли? – обращается ко мне смотритель. – Что мне с ним делать – куда ни переведу, везде его бьют. Прямо смертным боем бьют.

– Так точно! – подтверждает и надзиратель. – В карцер, как вы изволили приказать, в общий сажал, будто бы за провинность.<sup>2</sup> Не поверили – и там избили. На работы уж не гоняю. Того и гляди, совсем пришьют.

Человек, заслуживший такую злобу каторги, заподозрен ею в том, что донес, где скрылись двое беглых.

– А полезный человек был! – потихоньку сообщает мне смотритель. – Через него я узнавал все, что делается в тюрьме.

И вот теперь этот «полезный человек» стоял перед нами избитый, беспомощный, отчаявшийся в своей участи.

Каторга его бьет. Те, кому он был полезен, – что они могут поделать с освирепевшей, остервенившейся каторгой?

– Наказывай их, пожалуй! А они еще сильнее его бить начнут. Уходят еще совсем!

– И уходят, ваше высокоблагородие, – тоскливо говорит доносчик, – беспрерывно они меня уходят.

– Да хоть кто бил-то тебя, скажи? Зачинщик-то кто, по крайней мере?

– Помилуйте, ваше высокоблагородие, да разве я смею сказать? Будет! Довольно уж! Да мне тогда одного дня не жить. Совсем убьют.

– Вот видите, вот видите! Какие нравы! Какие порядки! Что ж мне делать с тобой, паря?

– Ваше высокоблагородие! – и несчастный обнаруживает желание кинуться в ноги.

– Не надо, не надо.

– Переведите меня куда ни на есть отсюда. Хоть в тайгу, хоть на Охотский берег пошлите. Нет моей моченьки побои эти неистовые терпеть. Косточки живой нет. Лечь, сесть не могу. Все у меня отбили. Ваше высокоблагородие, руки я на себя наложу!

В голосе его звучит отчаяние и действительно решимость пойти на все, на что угодно. Смотритель задумывается.

– Ладно! Отправить его завтра во второй участок. Дрова из тайги будешь таскать.

Это одна из самых тяжелых работ, но несчастный рад и ей, как празднику, как избавлению.

– Покорнейше вас благодарю. Ваше высоко...

---

<sup>2</sup> Это делается часто; доносчиков, «для отвода глаз», подвергают наказанию, будто он в немилости у смотрителя. Часто доносчики, заподозренные каторгой, просят даже, чтобы их подвергли телесному наказанию, «а то убьют».

– Что еще?

– Дозвольте на эту ночь меня в карцер одиночный посадить! Опять бить будут.

– Посадите! – смеется смотритель.

– Покорнейше благодарю.

Вот человек, вот положение – когда одиночный карцер, пугало каторги, и то кажется раем.

– Все?

– Так точно, все.

– Ну, теперь идемте в тюрьму, на перекличку, молитву, – да и спать! Поздно сегодня люди спать лягут с этой разгрузкой парохода! – глядит смотритель на часы. – Одиннадцать. А завтра в четыре часа утра прошу на раскомандировку.

## Тюрьма ночью

Холодная, темная, безлунная ночь. Только звезды мерцают.  
По огромному тюремному двору там и сям бегает огонек фонариков.  
Не видно не зги, но чувствуется присутствие, дыхание толпы.

Мы останавливаемся перед высоким черным силуэтом какого-то здания: это часовня посередине двора.

– Шапки долой! – раздается команда. – К молитве готовься. Начинай.

– «Христос воскрес из мертвых»... – раздается среди темноты.

Поют сотни невидимых людей.

Голоса слышатся в темноте справа, слева, около, где-то там, вдали!..

Словно вся эта тьма запела.

Этот гимн воскресения, песнь торжества победы над смертью, – при такой обстановке!

Это производило потрясающее впечатление.

Невидимый хор пропел еще несколько молитв, и началась поверка.

За поздним временем обычной переключки не было, просто считали людей.

Подняв фонарь в уровень лица, надзиратели проходили по рядам и пересчитывали арестантов.

Из темницы на момент выглядывали старые, молодые, мрачные, усталые, свирепые, отталкивающие и обыденные лица – и сейчас же снова исчезали во тьме.

В конце каждого отделения фонарь освещал чисто одетого старосту.

– Семьдесят пять? – спрашивал надзиратель.

– Семьдесят пять! – отвечал староста. Старший надзиратель подвел итог и доложил смотрителю, что все люди в наличии.

– Ступай спать!

Толпа зашумела. Тьма кругом словно ожила. Послышался топот ног, разговор, вздохи, позевывания.

Усталые за день каторжники торопливо расходились по камерам.

– Кто идет? – окрикнул часовой у кандалной тюрьмы.

– Кто идет? – уже отчаянно завопил он, когда мы подошли ближе.

– Господин смотритель! Что орешь-то!..

Мы прошли под воротами.

Загремел огромный замок, клуб сырого, промозглого пара вырвался из отворяемой двери, – и мы вошли в один из «номеров» кандалного отделения.

– Смирно! Встать!

Наше появление словно разбудило дремавшие кандалы. Кандалы забренчали, залязгали, зазвенели, заговорили своим отвратительным говором.

Чувствовалось тяжело среди этого звона цепей, в полумраке кандалной тюрьмы. Я взглянул на стены. По ним тянулись какие-то широкие тени, полосы. Словно гигантский паук заткал все какой-то огромной паутиной... Словно какие-то огромные летучие мыши прицепились и висели по стенам.

Это ветви ели, развешанные по стенам для освежения воздуха.

Пахло сыростью, плесенью, испариной.

Кандалных проверяли по фамилиям.

Они проходили мимо нас, звеня кандалами, а по стене двигались уродливые, огромные тени.

В одном из отделений было двое тачечников. Оба – кавказцы, прикованные за побег.

Один из них, высокий, крепкий мужчина с открытым лицом, смелыми, вряд ли когда отражавшими страх глазами, при перекличке, громокая цепями, провез свою тачку мимо нас.

Другой лежал в углу.

– А тот чего лежит?

Тачечник что-то проговорил слабым, прерывающимся голосом.

– Больна она! Очень шибко больна! Слаба стала! – объяснил татарин-переводчик.

Во время молитвы он поднялся и стоял, опираясь на свою тачку, охая, вздыхая, напоминая какой-то страдальческий призрак, при каждом движении звеневший цепями.

Вы не можете себе представить, какое впечатление производит человек, прикованный к тачке.

Вы смотрите на него прямо с удивлением.

– Да чего это он ее все возит?

И воочию видишь, и не верится в это наказание.

По окончании проверки кандалные пели молитвы.

Было странно слышать: в «номере» – 40–50 человек, а поет слабенький хор из 7–8. Остальные все кавказцы...

Меня удивляло, что в кандалном отделении не пели «Христос воскрес».

– Почему это? – спросил я у смотрителя.

– А забыли, вероятно! Люди, забывшие даже про то, что теперь пасхальная неделя!..

## Раскомандировка

Пятый час. Только-только еще рассвело.

Морозное утро. Иней легким белым налетом покрывает все: землю, крыши, стены тюрьмы.

Из отворенных дверей столбом валит пар. Нехотя, почесываясь, потягиваясь, выходят невыспавшиеся, не успевшие отдохнуть люди; некоторые на ходу надевают свое рванье, другие торопятся прожевать хлеб.

Не чувствуется обычной свежести и бодрости трудового, рабочего утра.

Люди становятся шеренгами; плотники – к плотникам, чернорабочие – к чернорабочим.

Надзиратели по спискам выкликают фамилии.

– Здесь!.. Есть!.. – на все тоны слышатся с разных концов двора голоса, то заспанные, то мрачные, то угрюмые.

– Мохаммед-Бек-Искандер-Али-Оглы! – запинаясь читает надзиратель. – Ишь, черт, какой длинный.

– Иди, что ли, дьявол! Малайка,<sup>3</sup> тебя зовут! – толкают каторжные кавказца, за три года каторги все еще не привыкшего узнавать своего громкого «бексакого» имени в безбожно исковерканной передаче надзирателя.

Над всем этим царит кашель, хриплый, затяжной, типичный катаральный кашель.

Многих прохватывает на морозце «цыганский пот». Дрожат, еле попадают зуб на зуб.

Ждут не дождутся, когда крикнут:

– Пошел!

Еще очень недавно этот ранний час, час раскомандировки, был вместе с тем и часом возмездия.

Посредине двора ставили «кобылу», – и тут же, в присутствии всей каторги, палач наказывал провинившегося или не выполнившего накануне урока.

А каторга смотрела и... смеялась.

– Баба!.. заверещал как поросенок! Не любишь! – встречали они смехом всякий крик наказуемого.

Жестокое зрелище!

Иногда каторга «экзаменовала» своих стремившихся заслужить уважение товарищей и попасть в иваны, в герои каторги.

На «кобылу» клали особенно строптивного арестанта, клявшегося, что он ни за что «не покорится начальству».

И каторга с интересом ждала, как он будет держать себя под розгами.

Стиснув зубы, подчас до крови закусив губы, лежал он на «кобыле» и молчал.

Только дико вращавшиеся глаза да надувшиеся на шее жилы говорили, какие жестокие мучения он терпел и чего стоит это молчание перед лицом всей каторги.

– Двенадцать! Тринадцать! Четырнадцать! – мерно считал надзиратель.

– Не мажь!.. Реже!.. Крепче! – кричал раздраженный этим стоическим молчанием смотритель.

Палач бил реже, клал розгу крепче...

– Пятнадцать... Шестнадцать... – уже с большими интервалами произносил надзиратель.

---

<sup>3</sup> Название всех молодых кавказцев. Старые зовутся «Вабаями».

Стон, невольный крик боли вырывался у несчастного. «Срезался! Не выдержал!» Каторга отвечала взрывом смеха. Смотритель глядел победоносно:

– Сломал!

Иногда каторга ждала раскомандировки, просто как интересного и смешного спектакля.

– Смотрите, братцы, какие я завтра курбеты буду выкидывать, как меня драть будут. Приставление! – похвалялся какой-нибудь жиган, продувший в карты все, до казенной одежды и пайка включительно, питающийся крохами со стола каторги и за это разыгрывающий роль шута.

И каторга ждала «приставления».

Помирая от внутреннего, еле сдерживаемого смеха, смотрела она на «курбеты», которые выделывал жиган.

Многие не выдерживали, прыскали от смеха, на землю приседали от хохота: «Не могу, братцы вы мои».

А несчастный жиган старался.

Падал перед смотрителем на колени, клялся, что никогда не будет, просил пощадить его, «сироту, деточек малых ради».

Не давался положить на «кобылу», кричал еще тогда, когда палач только замахивался.

– Ой, батюшки, больно! Ой, родители, больно!

– Крепче его, шельму! – командовал взбешенный смотритель.

А жиган, лежа под розгами, прибирал самые «смешные» восклицания:

– Ой, бабушка моя милая! Родители мои новопреставленные!

И кровью и телом расплачивался за те крохи, которые бросала ему со своего стола каторга.

Расплачивался, доставляя ей «довольствие».

Наказание кончилось, и жиган, часто еле-еле, но непременно с деланной, натянутой улыбкой, подходил к своим.

– Ловко!

Еще недавно, выйдя ранним морозным утром на крыльцо, можно было слышать вопли и стоны, несшиеся с тюремного двора.

Но *tempora mutantur...* Веяния нашего великого гуманного века все же сказались и на Сахалине.

И смотритель Корсаковской тюрьмы горько жаловался мне, что ему не дают теперь «исправлять» преступников.

Эти утренние расправы, экзамены и спектакли для каторги составляют сравнительно редкость.

Раскомандировка происходит и кончается тихо и мирно.

Переключка кончена.

– Ступай!

И каторжные, с топорами, пилами, веревками, срываются с места, бегут вприпрыжку, стараясь согреться на ходу.

## Тюрьма кандальная

«Кандальной» называется на Сахалине тюрьма для наиболее тяжких преступников, официально – «тюрьма разряда испытуемых», тогда как «тюрьма разряда исправляющихся» – для менее тяжких или окончивших срок «испытваемости» – называется «вольной тюрьмой», потому что ее обитатели ходят на работы без конвоя, под присмотром одного надзирателя.

– Кандальная тюрьма у нас плохая! – заранее предупреждал меня смотритель. – Строим новую, – никак достроить не можем.

И чтобы показать мне, какая у них плохая тюрьма, смотритель ведет меня по дороге в пустое, перестраивающееся отделение.

– Не угодно ли? Это стена? – смотритель отбивает палкой куски гнилого дерева. – Да из нее и бежать-то нечего! Разбежался, треснулся головой об стену – и вылетел насквозь. Воздух скверный. Зимой холодно, вообще – дрянь.

Гремит огромный ржавый замок.

– Смирно! – командует надзиратель.

Громыхают цепи, и около нар вырастают в шеренгу каторжные.

На первый день Пасхи из кандалной тюрьмы бежало двое – несмотря на данное всей тюрьмой «честное арестантское слово», – и теперь, в наказание, закованы все.

Сыро и душно; запах ели, развешанной по стенам, немножко освежает этот спертый воздух.

Вентиляции – никакой.

Пахнет пустотой, бездомовьем.

Люди на все махнули рукой – и на себя.

Никаких признаков хоть малейшей, хоть арестантской домовитости. Никакого стремления устроить свое существование поноснее.

Даже обычные арестантские сундуки – редко, редко у кого.

Голые нары, свернутые комком соломенные грязные матрацы в головах.

По этим голым нарам бродит, подняв хвост, ободранная чахлая кошка и, мурлыкая, ласкается к арестантам.

Арестанты очень любят животных; кошка, собака – обязательная принадлежность каждого «номера». Может быть, потому и любят, что только животные и относятся к ним как к людям.

Посреди номера стол – даже не стол, а высокая длинная узкая скамья. На скамье налито, валяются хлебные крошки, стоят неубранные жестяные чайники.

Мы заходим как раз в тот «номер», где живут двое тачечников.

– Ну-ка, покажи свой инструмент!

Несмазанная тележка визжит, цепи громыхают, прикованный тачечник подвозит к нам свою тачку.

Тачка, весом пуда в два, прикована длинной цепью к ножным кандалам.

Раньше она приковывалась к ручным, но теперь ручные кандалы надеваются на тачечников редко, в наказание за особые провинности.

Куда бы ни шел арестант – он всюду везет за собой тачку.

С нею и спит, на особой койке, в уголке, ставя ее под кровать.

– На сколько лет приговорен к тачке? – спрашиваю.

– На два. А до него на этой постели спал три года другой тачечник.

Я подхожу к этой постели.

У изголовья дерево сильно потерто. Это – цепью. Пять лет трет это дерево цепь...

– Дерево, и то стирается! – угрюмо замечает мне один из каторжников.

Наказание тяжкое, – оно было бы совсем невыносимым, если бы тачечники изредка не давали сами себе отдыха.

Трудно заковать арестанта «наглухо». При помощи товарищей, намазав кандалы мылом, – хоть и с сильной болью, они иногда снимают на ночь оковы, а с ними освобождаются и от тачки, отдыхают хоть несколько часов в месяц.

Бывают случаи даже побегов тачечников.

– Работают у вас тачечники?

– Я заставляю, а в других тюрьмах отказываются. Ничего с ними не поделаешь: народ во всем отчаявшийся.

Кругом угрюмые лица. Бездна светящихся глаза. Холодные, суровые, озлобленные взгляды, – и злоба, и страдание светятся в них. Вот-вот, кажется, лопнет терпение этих «испытываемых» людей.

Никогда мне не забыть одного взгляда.

Среди каторжных один интеллигентный, некто Козырев, москвич, сосланный за дисциплинарное преступление на военной службе.

Симпатичное лицо. И что за странный, что за страшный взгляд!

Такой взгляд бывает, вероятно, у утопающего, когда он в последний раз всплывет над водой и оглянется, – ничего, за что бы ухватиться, ниоткуда помощи, ничего, кроме волны, кругом. Бездна, с предсмертной тоской взглянет он кругом и молча пойдет ко дну, без борьбы.

– Поскорей бы!

Тяжело и глядеть на этот взгляд, а каково им смотреть? Среди кандалных содержатся беглые, рецидивисты и состоящие под следствием.

– Ты за что?

– По подозрению в убийстве.

– Ты?

– За кражу.

– Ты?

– По подозрению в убийстве. «По подозрению»... «по подозрению»... «по подозрению».

– Ты за что?

– За убийство двоих человек! – слышится прямой, резкий ответ, сказанный твердым, решительным голосом.

– Поселенец он! – объясняет смотритель. – Отбыл каторгу и теперь опять убил.

– Кого ж ты?

– Сожительницу и надзирателя.

– Из-за чего ж вышло?

– Баловаться начала. С надзирателем баловалась. «Пойду да пойду к надзирателю жить, что мне с тобой, с поселенцем-то каторжным?» – «Врешь, – говорю, – не пойдешь». Просил ее, молил, Господом Богом заклинал. И не пошла бы, может, да надзиратель за ней пришел – и взял. «Я, – говорит, – ее в пост поведу. Ты с ней скверно живешь. Бьешь». – «Врешь, – говорю, – эфиопская твоя душа! Пальцем ее не трогаю. И тебе ее не отдам. Не имеешь никакого права ее от меня отбирать!» – «У тебя, – говорит, – не спрашивался! Одевайся, пойдем, – чего на него смотреть». Упреждал я: не делай, мол, этого, плохо выйдет. «А ты, – говорит, – еще погрози, в карцере, видно, давно не сиживал. Скажу слово – и посидишь!» Взял ее и повел...

Передергивает поселенца при одном воспоминании.

– Повел ее, а у меня голова кругом. Стой, думаю. Взял ружье – ружьишко у меня было. Они-то дорогой шли, – а я тайгой, тропинкой, вперед их забежал, притаился, подождал. Вижу, идут, смеются. Она-то зубы с ним скалит... И прикончил. Сначала его, а потом уж ее – чтоб видела!

«Прикончив», поселенец жестоко надругался над трупами. Буквально искромсал их ножом. Много накопившейся злобы, тяжелой обиды сказалось в этом зверском, циничном издевательстве над трупами.

– Себя тогда не помнил, что делал. Рад только был, что ему не досталась... Да и тяжело было.

Поселенец – молодой еще человек, с добродушным лицом. Но в глазах, когда он рассказывает, светится много воли и решимости.

– Любил ты ее, что ли?

– Известно, любил. Не убивал бы, если б не любил...

– Ваше высокоблагородие, – пристаёт к смотрителю, пока я разговариваю в сторонке, пожилой мужичонка, – велите меня из кандалной выпустить! Что ж я сделал? На три дня всего отлучился. Горе взяло, – выпил, только и всего. Достал водки бутылку, да и прогулял. За что же меня держать?

– Врешь, паря, убежишь!

– Господи, да зачем мне бежать? Что мне, в тюрьме, что ли, нехорошо? – распинается «беглец». – Сами изволите знать, было бы плохо, – взял борцу, да и конец. Сами знаете, лучше ничего и не может быть. Борец – от каторги средство первое.

– Долго ли меня здесь держать будут? – мрачно спрашивает другой. – Долго ли, спрашиваю!

– Следствие еще идет.

– Да ведь четвертый год я здесь сижу, задыхаюсь! Долго ли моему терпению предела не будет? Ведь сознаюсь я...

– Мало ли что ты, паря, сознаешься, да следствие еще не кончено.

– Да ведь сил, сил моих, говорю, нету.

– Ваше высокоблагородие! Что ж это за баланду дали? Есть невозможно! Картошка нечищенная! На Пасху разговляться, – и то рыбу дали!..

Мы выходим.

– Выпустите вы меня, говорю, вам...

– Ваше высокоблагородие, долго ли?... Ваше...

Надзиратель запирает дверь большим висячим замком.

Из-за запертой двери доносится глухой гул голосов.

Корсаковская кандалная тюрьма – одна из наиболее мрачных, наиболее безотрадных на Сахалине.

Быть может, ее обитатели произвели на вас не только неприятное – отталкивающее впечатление?

Милостивые государи, вы стоите рядом с человеческим горем. А горе надо слушать сердцем.

Тогда вы услышите в этом «зверстве» много и человеческих мотивов, в «злобе» – много страдания, в «циничном» смехе – много отчаяния...

По грязному двору кандалной тюрьмы мы переходим в «отделение исправляющихся».

## Вольная тюрьма

Люди на работах.

В тюрьме остались только староста, «каморщики», то есть уборщики камер, парашечники, – вообще «чиновники», как их насмешливо называет каторга.

Метут, скребут, чистят, прибирают.

Везде белят.

Из ельника делают очень живописные узоры и убирают ими стены.

Ждут приезда начальства, – и, конечно, тогда тюрьма не будет иметь того вида, какой она имеет теперь в своем обычном, повседневном, будничном уборе.

Вольная тюрьма – и Корсаковская, и всякая другая на Сахалине – производит впечатление просто-напросто ночлежного дома.

Очень плохого, очень грязного, где собираются самые подонки городской нищеты.

Где никто не заботится ни о воздухе, ни о чистоте, ни о гигиене.

Пришел, выпался – и ушел!

– Пропади она пропадом!

Грязные, тусклые окна пропускают мало света.

Нары – посреди каждого «номера» – скатом на две стороны. Нары вдоль стен.

Грязь – хоть ножом отскабливай. Мылом никаким не отмоешь.

Когда моют полы, поднимают одну из половиц, и грязь просто-напросто стекает под пол.

Мы застаем как раз такую картину.

– Ах, свиньи, свиньи! – качает головой наблюдатель, словно в этом виноваты одни «свиньи».

Пробую палкой – палка чуть не на пол-аршина уходит в жидкую грязь в подполице.

На этом-то болоте из грязи стоит тюрьма. Этими испарениями дышат люди.

– Очень, очень скверная тюрьма! – подтверждает наблюдатель. – Теперь еще ничего, только сыро. А зимой – холод.

Скверно, очень, очень скверно.

Почти во всякой тюрьме, в каком-нибудь номере, вы непременно увидите скрипку. Она висит обыкновенно на передней стене, где висит все, что есть наиболее ценного у тюрьмы, – образ, лубочные картины, какие есть, лучшее платье. Около этой же стены стоит обыкновенно и отдельная, сравнительно чистая постель всегда «чисто» одетого в свое платье старосты.

Скрипка – любимый инструмент каторги.

Помню, я рассказал кому-то из каторжных ту сцену из «Мертвого дома», где Достоевский описывает, как загулявший каторжанин нанимает скрипача, и тот целый день ходит за ним и пищит на скрипке.

Мой собеседник даже словно обрадовался.

– Вот-вот – для этого самого! Загуляет кто! Это господин, про которого вы изволите говорить, верно описал.

– Да ведь он описывал давнишнее время.

– Все одно – и теперь-с. Скрипка – первая штука, ежели гулять. Веселый струмент.

В одной из камер на стене висели самодельные картины одного из каторжных, Бабаева. Картины изображали скачущих верхами генералов.

– А где сам художник?

– На обвахте сидит. В одиночке содержится.

– Вот что, я возьму одну картину, – на тебе рубль, передай Бабаеву. Ему, чай, на табачишко, на сахар нужно! – дал я нарочно, чтобы испытать, передаст ли человек деньги своему еще более страждущему товарищу.

– Смотри же, передай!

– Помилте!

Деньги переданы не были.

## Мастерские

Корсаковские мастерские – столярная, слесарная, токарная, сапожная, швальная, кузница – работают недурно.

И у господ служащих и... даже во Владивостоке у многих можно видеть очень приличную мебель работы корсаковских мастерских.

Мастерские расположены здесь же, на тюремном дворе.

Многие мастеровые в них и ночуют. Как-то легче на душе становится, когда после тюремной «оголтелости» и голой нищеты вступишь в мастерские.

Здесь хоть чуть-чуть да пахнет в воздухе достатком, у всякого есть хоть что-нибудь и лишнее.

Люди имеют кое-какой посторонний заработишко – по праздникам, во время, полагающееся для отдыха.

У кого есть кроватишка, у кого хоть какое-нибудь лишнее тряпье.

Да и лица не такие уж «каторжные» – труд все-таки кладет на них благородный, человеческий отпечаток.

Труд подневольный, «барщина», но если вы хотите видеть, как может работать арестант, с какой охотой, как старательно он работает, если хоть чуть-чуть заинтересован в труде, – похвалите работу.

– Отличные, мол, коты (арестантские башмаки). Видно, хороший мастер. Тонкую работу исполнять можешь.

Доброе слово на каторге – редкость.<sup>4</sup> Доброе слово, непривычное, производит на каторжного больше впечатления, чем привычная розга.

От похвалы лицо рабочего распухнет в улыбку, – он непременно достанет из «укладки» и похвастается работою «на сторону».

И что за тщательная, что за любовная работа! Подошва у другого и та вся выстрочена какими-то рисунками.

Не то чтоб ему за это заплатили дороже, а любит он «свою» работу, старается над ней, отделяет сапог какой-нибудь, словно художник-ювелир гранит редкий, ему самому нравящийся бриллиант.

И недаром люди, хорошо знающие каторгу, говорят, что, если бы ее хоть чуть-чуть заинтересовать материально в труде, каторга меньше давала бы лентяев, игроков, рецидивистов, – меньше народу падало бы в ней окончательно.

Но довольно «философии».

Перед нами опять мрачная, каторжная картина.

Молодой парень сколачивает большой, неуклюжий гроб. Другой, уже оконченный, стоит тут же на полу.

– Покойники разве есть?

– Нет. Да из лазарета присылали сказать: будут. Ну, и готовим.

Парень со злостью заколачивает гвоздь.

– Возись с чертями! Хороший, природный столяр был, у Файнера, в Киеве, мастеровым служил, может, изволите знать, первый магазин, – а теперь вот гроба сколачивай! Тьфу!

– А за что пришел?

– В Киевском университете за убийство.

---

<sup>4</sup> Помню в п. Александровском меня приветствовал при встрече какой-то слегка подвыпивший поселенец. – Христос воскрес, барин! – Воистину воскрес! Поселенец снял шапку, поклонился в пояс – нет, ниже, чем в пояс, рукой чуть не касаясь земли. – Поко-орнейше вас благодарю. – Да за что ты меня благодаришь-то, чудац-человек? – За хороший ответ. Больно ласково ответили.

– С грабежом?

– С ним. Много награбили, держи карман шире!

– А надолго?

– Без срока.

Неподалеку старичок в очках, низко нагнувшись, мастерит коты, тщательно заколачивает гвоздики.

– Давно здесь, дедушка?

– Недавно, милостивый государь мой, – приветливо говорит он, – недавно.

– А за что?

– Старуху свою убил.

– Жену?

– Нет, так. Полюбовница была. Десять лет душа в душу выжили... И этакий грех вышел!

– Что же случилось?

– Сдурела, старая. В Феодосии мы жили, я хорошим мастером слыл, жил скромно, деньжонки имел. На них-то она и зарилась. «Умрет, мол, сам, все родные отберут! Отравлю да отравлю и деньгами воспользуюсь». А тут еще путаться с молодым начала. «Отравлю!» – да и все. Замечаю я. Живем, как два волка в клетке, друг на друга зубами щелкаем. Мне ее боязно – того и гляди, отравит; она меня опасается – потому видит, что замечаю. Так тяжело в те поры было, так тяжело... Не выдержал... убил.

Каких, каких только драм здесь нет.

## Околоток

Корсаковский тюремный околоток – это тот же лазарет по назначению, та же тюрьма по характеру.

Околоток – это место, куда кладут не особенно тяжких больных, нуждающихся в отдыхе.

Здесь же живут и «богодулы», богадельщики, старики и молодые, неспособные, вследствие болезни или увечья, к работе.

В околотке только одно удобство – у всякого своя постель. Воздух такой же спертый и душный, как в тюрьме.

Околотком заведует врач Сурминский, «старый сахалинский служака», про которого мне с восторгом говорил смотритель.

– Вот это доктор, так доктор! Не нынешним, не молодым, чета! У него слабых арестантов не бывает почти, все полносильные, все годятся в работу. Пришел к нему арестант, жалуется, – «врешь!». Не то что нынешние!

О том, что это за доктор, вы можете составить себе понятие по следующему.

Наш матрос с парохода «Ярославль» обварил себе в бане кипятком голову.

Ожог был страшный: лицо, голова вся напоминала какую-то сплошную бесформенную массу.

Послали больного к доктору Сурминскому.

– Пусть везут на пароход! У них на пароходе свой врач есть!

И пришлось везти несчастного на пристань, ждать добрый час, пока вернется катер, везти больного в сильное волнение на зыбком, качающемся катере, версты за полторы от берега, на пароход.

После этого станут понятными все рассказы, которые ходят в каторге про доктора Сурминского.

В разговоре с ним меня очень удивило его нежное, почти любовное отношение к телесным наказаниям.

– Взбрызнуть – и все.

Словно о резеде какой-то шла речь. И он с таким смаком говорил это «взбрызнуть». Но Господь с ним! Займемся лучше тюремными типами. Вот чисто, даже щеголевато одетый пожилой человек. Он нарочно прожигает себе нёбо папиросой и растравляет рану, чтобы лежать в околотке.

– Работать, что ли, не хочет?

– Какое там! – смеются больные. – Старостой был в «номере», за воровство прогнали. Вот теперь и стыдно в «номер» глаза показать. То все спал на своей наре, а теперь пошел на общую. Был староста, «начальство», «чиновник», а теперь – такой же каторжный.

Каторга смеется.

Бедняга, видимо, сильно страдает от уязвленного самолюбия.

– Ты что, старина?

– Богодуль я, вашескорodie! Ни к чему не способный человек!.. Всем и себе лишний. Так вот живу, только паяк ем!

– А много лет-то?

– Лет-то не так, чтоб уж очень много, да побоев многонько. Из бродяг я, еще в Сибири ходил бродяжить. Участь хотел переменить. Споймали, так били – сейчас отдает. Ни лечь ни встать. Нутра, должно уж, у меня нет. Тяжко здесь сидеть-то, ох, как тяжело! Ну, да теперь уж недолго осталось... Теперь недолго...

– Срок скоро кончается?

- Нет. Помру. Рядом хроник-чахоточный.
- На ту бы сторону мне. Я б и поправился...
- А ведь ему ужасно в этом воздухе быть, доктор?
- Да... да... Ну, да что ж делать!

## Женская тюрьма

Она невелика.

Всего один «номер», человек на десять. Женщины ведь отбывают на Сахалине особую каторгу: их отдают в сожительницы поселенцам.

В тюрьме сидят только состоящие под следствием.

При нашем появлении с нар встают две.

Одна – старуха-черкешенка, убийца-рецидивистка, ни звука не понимающая по-русски.

Другая – молодая женщина. Крестьянка Вятской губернии. Попала в каторгу за то, что подговорила кума убить мужа.

– Почему же?

– Неволей меня за него отдали. А кума-то я любила. Думала, вместе в каторгу пойдем.

Ан его в одно место, а меня в другое.

Здесь она совершила редкое на Сахалине преступление.

С оружием в руках защищала своего сожителя.

Он поссорился с поселенцами. На него кинулось девять человек, начали бить.

Тогда она бросилась в хату, схватила ружье и выстрелила в первого попавшегося из нападавших.

– Что ж ты полюбила его, что ли, сожителя?

– Известно, полюбила. Ежели бы не полюбила, разве стала бы его собой защищать, – чай, меня могли убить... Хороший человек; думала, век с ним проживем, а теперь на-тко...

Она утирает набежавшие слезы и принимается тихо, беззвучно рыдать.

– Ничего ей не будет, – успокаивает меня смотритель. – Осудят, отдадут на дальнейшее поселение опять к какому-нибудь поселенцу в сожительницы... Женщины у нас на Сахалине безнаказанны.

Действительно, с одной стороны – как будто безнаказанность.

Но какое наказание можно придумать тяжелее этой «отдачи» другому, отдачи женщины, полюбившей сильно, горячо, готовой жертвовать своей жизнью.

Не пахло ли чем-то затхлым, тяжелым на вас? Отжитым временем? Крепостным правом, когда так спокойно «отдавали», играя чужой жизнью и сердцем?

Изо всех тюрем, которые мы только что обошли с вами, эта маленькая производит самое тяжелое впечатление.

## Карцеры

Сыро, тяжелый, зловонный, невыносимый воздух, но довольно светло.

Таково общее впечатление корсаковских одиночных карцеров при гауптвахте.

Здесь содержатся одиночные подследственные и наиболее провинившиеся каторжные.

Вот – Авдеев.

Юноша с неприятным лицом, отталкивающим взглядом.

Необыкновенно циничный.

Он производит впечатление волчонка, затравленного и злобного.

Словно для дополнения сходства, он постоянно стоит около окошечка в двери и грызет дерево. Отгрыз уж порядочно, как будто точит зубы.

Авдееву теперь около 19 лет, а в 15 он был уже признан неисправимым преступником.

Авдеев приговорен к вечной каторге.

В четырнадцать лет он совершил тяжчайшее преступление: убил отца и мать.<sup>5</sup>

– За что же ты их убил?

– За что убивают? За деньги!

Его коротенькая жизнь – целый роман.

Его незаконный отец – офицер. Мать – пленная турчанка.

Отец сошелся с ней во время последней войны и привез вместе с прижитым ребенком в Россию.

Ни отец, ни мать не любили этого несчастного малыша.

Довольно состоятельные люди, они совсем забросили ребенка. Авдеев еле умеет читать.

– Известно, если бы хорошо со мной обращались, – не зарезал бы!

О своем преступлении Авдеев говорит спокойно, хладнокровно, цинично.

– Деньги были хорошие – тридцать тысяч. Удрал бы за границу, – и все! Да нет, пьянствовать начал! Известно, мал был, глуп еще!

В каторге Авдеев выходит из карцера, чтобы лечь на «кобылу», под розги, – и встает с «кобылы», чтоб сесть в карцер.

Он упорно отказывался работать. Пробовал бежать, – поймали.

За время каторги он успел получить 500–600 розог.

И об этом говорит так же спокойно, хладнокровно и цинично.

– Да почему же ты отказываешься работать?

– А так! Не хочу – и не стану.

– Да ведь что же впереди? Задерут!

– Задрать не смеют.

– Да ведь больно?

– Больно, – терпеть нужно.

– Неужели же это лучше, чем работать?

– Известно, лучше. Отдерут, да перестанут. А работа-то с утра до ночи, каждый день.

– Ну, а в карцере сидеть разве приятно?

– Ничего! Сидят люди!.. А только я вам прямо говорю: работать не буду! Положите, дерите хоть до смерти, – не буду!

Он производит тяжелое впечатление.

На меня лично он произвел впечатление «задерганной лошади».

---

<sup>5</sup> Убийство в Воронеже.

Лошадь, которую сильно дергали и нахлестывали, которая остановилась и упрямо ни за что не сделает ни шагу вперед, как бы ее ни били.

В таких случаях мало-мальски опытные кучера дают лошади просто немного передохнуть.

И мне кажется, что хорошая доза бромистого калия оказала бы куда большее действие, чем розги, на этого болезненно-раздраженного, со взвинченными нервами, отвратительного и глубоко несчастного юношу.

Рядом с ним – бывалый каторжник Бабаев.

Армянин Эриванской губернии.

С симпатичным лицом, на котором во время разговора играет добрая, заискивающая, вкрадчивая улыбка.

Маслянистые глаза, вечно как будто покрытые влагой.

Мягкий, приятный голос.

Он говорит так мягко, нежно, вкрадчиво.

Бабаев не лишен артистической жилки.

Он очень любит рисовать и постоянно рисует одно и то же: генералов с грудью колесом, которые скачут на конях тоже с грудью колесом. Этими картинками увешана вся его камера.

Самый лучший подарок для него – ящик с красками.

Тогда в его глазах светится столько счастья...

Его специальность – убивать товарищей.

Во вновь прибывшей партии он высматривает новичков с деньгами и соблазняет бежать.

Описывает ужасы каторги и легкость бегства.

Обещает достать паспорт и быть преданным товарищем.

И нет ничего удивительного, что новички верят доброму, ласковому тону его голоса, вкрадчивой улыбке, такому симпатичному лицу.

Где-нибудь в глухой тайге он убивает товарища, отбирает деньги и возвращается в тюрьму.

На эти деньги он живет, лакомится, покупает себе краски и рисует свои любимые картинки.

Каторга обвиняет его в шести убийствах. Официально он обвиняется в двух.

Погоня, отправленная ему вдогонку при последнем бегстве – они бежали втроем, – наткнулась сначала на один труп, потом на другой, – и по этому страшному следу добралась до Бабаева.

Вот человек, «приговоренный к жизни».

Следствие о нем тянется, по сахалинскому обычаю, несколько лет; и самая страшная для него минута – это когда следствие кончится и его переведут из одиночного заключения в общую тюрьму.

Об этой минуте он боится и подумать.

Арестанты его убьют.

О Боже! Что это за жалкое, за презренное существование, которое он влачит и которое он предпочитает смерти.

Вечная мысль о мести со стороны арестантов развила у него манию преследования.

Он никуда не выходит из карцера, отказывается даже от прогулок.

Он боится выйти даже в сопровождении солдат.

– Бросится кто-нибудь и убьет.

И когда он говорит это, он бледнеет, судороги пробегают по лицу, а глаза полны такого страха, словно над ним уж занесен нож.

Такое выражение лица, вероятно, бывает у человека, когда он лежит уже на земле и ждет смертельного удара.

Он, вероятно, сойдет с ума от этой мысли, – и... это, быть может, будет лучше для него. Лучше безумие, чем это сознание, вечный трепет, вечная дрожь.

## «Исправился»

– Хе-хе! Это человек, которого лишили невинности, – сказал мне о нем один из сахалинских чиновников.

Человек, с которым случилось это странное происшествие, – Балад-Адаш, горец, осужденный за убийство.

Человек феноменальной силы, вероятно, когда-то такой же отваги, решительный и гордый.

Он был «нетерпим» на каторге.

Он не отказывался работать, но если ему или кому-нибудь из его товарищей назначали работу «не по правилам», он протестовал тем, что бросал работать.

Он был вежлив и почтителен, но, если его ругали, он повертывался и уходил.

Если ему делали замечание «зря, не за дело», он возражал.

– Ему слово, а он – десять.

Он был прямо помешан на справедливости. И водворял ее всюду как мог.

– Словно не мы его, а он нас исправлять сюда приехал! – обиженно рассказывал мне о нем чиновник.

К тому же «пороться» за свои дерзости Балад-Адаш не давался.

– Его на «кобылу» класть, а он драться. «Не позволяем меня розгам трогать! Себе, другим, каким попало, резать будем! Не трогай лучше!» – кричит. Что с ним поделаешь?!

– Связать бы да выдрать хорошенько! – перебил кто-то, присутствовавший при разговоре.

– Покорнейше благодарю. Сегодня его свяжешь и выдерешь, а завтра он тебе нож в бок. С этими кавказцами шутки плохи.

В это время на Корсаковский округ налетел – именно не приехал, а налетел – новый смотритель поселений Бестужев.

Человек вида энергичного, силы колоссальной, нрава крутого, образа мыслей решительного: «Какие там суды? В морду, да и все».

К нему-то и отправили для «укрощения» Балад-Адаша.

Отправили с ответственным предупреждением, что это за экземпляр.

Весь округ ждал.

– Что выйдет?

Но пусть об этом рассказывает сам энергичный смотритель.

– Выхожу из канцелярии. Смотрю, стоит среди арестантов тип этакий. Поза свободная, взгляд смелый, дерзкий. Глядит, шапки не ломает.<sup>6</sup> И все, сколько здесь было народу, установились: «Что, мол, будет? Кто кого?» Самолюбие заговорило. Подхожу. «Ты что, мол, такой-сякой, шапки не снимаешь? А? Шапку долой!» Да как развернусь, – с ног!

Балад-Адаш моментально вскочил с земли, «осатанел», кинулся на смотрителя: «Ты драться?»

Я развернулся – два. С ног долой, кровь, без чувств унесли. Поединок был кончен. Балад-Адаш укрощен.

– Думали потом, что он его зарежет. Нет, ничего, обошелся, – рассказывали мне другие чиновники.

– Плакал Баладка в те поры шибко. Сколько дней ни с кем не говорил. Молчал, – рассказывали мне арестанты.

Я видел Балад-Адаша. Познакомился с ним.

---

<sup>6</sup> Балад-Адаш знал, что его прислали для «укрощения».

Балад-Адаш действительно исправился.

Его можно ругать, бить. Он дается сечь сколько угодно, и ему частенько приходится испытывать это удовольствие: пьяница, вор, лгун, мошенник, доносчик; нет гадости, гнусности, на которую не был бы способен этот «потерявший невинность» человек.

Лентяй – только и старается, как бы свалить свою работу на других.

Он пользуется презрением всей каторги и принадлежит к хамам – людям совсем уж без всякой совести, самому презренному классу даже среди этих подонков человечества.

Я спрашивал его между прочим и об «укрошении».

Балад-Адаш чуть-чуть было нахмурился, но сейчас же улыбнулся во весь рот, словно вспоминая о чем-то очень курьезном, и сказал, махнув рукой:

– Сильно мене мордам бил! Шибко бил!

Таков Балад-Адаш и его исправление.

## Два одессита

Одесса дала Корсаковской тюрьме двух представителей.

Верблинского и Шапошникова.

Трудно представить две большие противоположности.

Верблинский и Шапошников – это два полюса каторги.

Если собрать все, что в каторге есть худшего, подлого, низкого, эта квинтэссенция каторги и будет Верблинский.

С ним я познакомился на гауптвахте, где Верблинский содержится по подозрению в убийстве с целью грабежа двух японцев.

Верблинский клянется и божится, что он не убивал. Он был свидетелем убийства, при нем убивали, он получил свою часть за молчание, но он не убивал.

И ему можно поверить.

Нет той гнусности, на которую не был бы способен Верблинский. Он может зарезать сонного, убить связанного, задушить ребенка, больную женщину, беспомощного старика. Но напасть на двоих с целью грабежа – на это Верблинский не способен.

– Помилуйте! – горячо протестует он. – Зачем я стану убивать? Когда я природный жулик, природный карманник! Вы всю Россию насквозь пройдите, спросите: может ли карманник человека убить? Да вам всякий в глаза расхохочется! Стану я японцев убивать!

– Имеешь, значит, свою «специальность»?

– Так точно. Специальность. Вы в Одессе изволили бывать? Адвоката, – Верблинский называет фамилию когда-то довольно известного на юге адвоката, – знаете? Вы у него извольте спросить. Он меня в восемьдесят втором году защищал, – в Елисаветграде у генеральши К. восемнадцать тысяч денег, две енотовые шубы, жемчуг взял. Восемьсот рублей за защиту заплатил. Вы у него спросите, что Верблинский за человек, – он вам скажет! Да я у кого угодно что угодно когда угодно возьму. Дозвольте, я у вас сейчас из кармана что угодно выйму – и не заметите. В Киеве, на девятисотлетие крещения Руси, у князя К. – может, изволили слышать – крупная кража была. Тоже моих рук дело!

В тоне Верблинского слышится гордость.

– И вдруг я стану каких-то там японцев убивать! Руки марать, – отродясь не марал. Да я захотел бы что взять, я и без убийства бы взял. Кого угодно проведу и выведу. Так бы подвел, сами бы отдали. Ведь вот здесь в одиночке меня держат, – а захотел я им доказать, что Верблинский может, и доказал!

Верблинский объявил, что знает, у кого заложена взятая у японцев пушнина – собольи шкурки, – но для того, чтобы ее выкупить, нужно пятьдесят два рубля и «верного человека», с которым бы можно было послать деньги к закладчику.

Смотритель поселений господин Глинка, производивший следствие по этому делу, поверил Верблинскому и согласился дать пятьдесят два рубля.

– Сами и в конверт заклейте!

Господин Глинка сам и в конверт заклеил.

Верблинский сделал на конверте какие-то условные арестантские знаки.

– Теперь позвольте мне верного человека, которого бы можно послать, потому по начальству я объявлять не могу.

Ему дали какого-то бурята. Верблинский поговорил с ним наедине, дал ему адрес, сказал, как нужно постучаться в дверь, что сказать.

– Смотри, конверт не потеряй!

И Верблинский сам засунул буряту конверт за пазуху.

– Выходим мы с гауптвахты, – рассказывал мне об этом господин Глинка, – взяло меня сомнение. «Дай, – думаю, – распечатаю конверт». «Нет, – думаю, – распечатаю, тот узнает, пушины не даст». Или распечатать, или нет? В конце концов не выдержал – распечатал.

В конверте оказалась бумага. Верблинский успел «передернуть», «сделать вольт» и подменил конверт.

Бросились сейчас же его обыскивать: сорок два рубля нашли, а десять так и пропали, как в воду канули.

– За труды себе оставил! – нагло улыбается Верблинский. – За науку! Этакого маху дали! А! Я и штуку-то нарочно подстроил. Мне не деньги нужны были, а доказать хотелось, что я, в клетке, взаперти, в одиночке сидючи, их проведу и выведу. И вдруг я этакую глупость сделаю – людей резать начну!

– Да ты видел, как резали?

– Так точно. Видел. Я сторожем поблизости был. Меня позвали, чтоб участвовал. Потому иначе донести бы мог. При мне их и кончали.

– Сонных?

– Одного, чей труп нашли, – сонного. А другой, которого не нашли – он в тайге зарыт, – тот проснулся. Метался очень. Его уже в сознание зарезали.

– Отчего же ты не открыл убийц? Ведь самому отвечать придется?

– Помилуйте! Разве вы каторжных порядков не знаете? Нешто я могу открыть? Убьют меня за это.

Верблинский – одессит. В Одессе он имел галантерейную лавку.

– Для отвода глаз, разумеется! – поясняет он. – Я, как докладываю, по карманной части. Или так, – из домов случалось хорошие деньги брать.

Он не говорит «красть». Он «брал» деньги.

– И много раз судился?

– Раз двадцать.

– Все под своей фамилией?

– Под разными. У меня имен-то что было! Здесь даже, когда взяли, два паспорта подложных нашли, – на всякий случай, думал – уйду.

Это человек, прошедший огонь, воду и медные трубы. Все тюрьмы и остроги России он знает как какой-нибудь турист первоклассные отели Европы. И говорит о них, как об отелях.

– Там сыровато... Там будет посуше. В харьковском центре пища неважная, очень стол плох. В московском кормят лучше – и жить удобнее. Там водка дорога, там – подешевле.

На Сахалин Верблинский попал за гнусное преступление: он добился силой того, чего обыкновенно добиваются любовью.

Его судили в Киеве.

– Не то чтоб она уж очень мне нравилась, – а так, недурна была!

В его наружности – типичной наружности бывалого, прожженного жулика, в его глазах, хитрых, злых, воровских и бесстыдных, – светится душонка низкая, подлая, гнусная.

Шапошников – тоже одессит.

В 87-м или 88-м году судился в Одессе за участие в шайке грабителей под предводительством знаменитого Чумака. Где-то в окрестностях, около Выгоды, они зарезали купца.

Попав на каторгу, Шапошников вдруг преобразился.

Вид ли чужих страданий и горя так подействовал, – но Шапошников буквально отрекся от себя и из отчаянного головореza превратился в самоотверженного, бескорыстного защитника всех страждущих и угнетенных, сделался «адвокатом за каторгу»...

Как и большинство каторжных, попав на Сахалин, он прямо-таки «помешался на справедливости».

Не терпел, не мог видеть равнодушно малейшего проявления несправедливости. Обличал смело, решительно, ни перед кем и ни перед чем не останавливаясь и не трусая.

Его драли, а он, даже лежа на «кобыле», кричал:

– А все-таки вы с таким-то поступили нехорошо! Нас наказывать сюда прислали, а не мучить. Нас из-за справедливости и сослали. А вы же несправедливости делаете.

– Тысяч пять или шесть розог в свою жизнь получил. Вот какой характерец был! – рассказывал мне смотритель.

Как вдруг Шапошников сошел с ума.

Начал нести какую-то околесицу, чушь, делать несуразные поступки. Его отправили в лазарет, подержали и как тихого помешанного выпустили.

С тех пор Шапошников считается дурачком, – его не наказывают и на все его проделки смотрят как на выходки безумного.

Но Шапошников далеко не дурачок.

Он просто переменил тактику.

– На «кобылу» устал ложиться! – как объясняет он.

Понял, что плетью обуха не перешибешь, – и продолжает прежнее дело, но в иной форме.

Он тот же искренний, самоотверженный и преданный друг каторги.

Как дурачок он освобожден от работ и обязан только убирать камеру.

Но Шапошников все-таки ходит на работы, и притом наиболее тяжкие.

Увидав, что кто-нибудь измучился, устал, не может справиться со слишком большим уроком, Шапошников молча подходит, берет топор и принимается за работу.

Но беда, если каторжник, по большей части новичок, скажет по незнанию:

– Спасибо!

Шапошников моментально бросит топор, плюнет и убежит.

Бог его знает, чем питается Шапошников.

У него вечно кто-нибудь «на хлебах из милости».

Он вечно носит хлеб какому-нибудь проигравшему свой паек, с голоду умирающему жигану.

И тоже не дай Бог, если тот его поблагодарит.

Шапошников бросит хлеб на пол, плюнет своему обидчику в лицо и уйдет.

Он требует, чтобы его жертвы принимались так же молча, как он их делает.

Придет, молча положит хлеб и молча стоит, пока человек не съест.

Словно ему доставляет величайшее удовольствие смотреть, как другой ест.

Если – что бывает страшно редко – Шапошникову удастся как-нибудь раздобыть деньжонок, он непременно выкупает какого-нибудь несчастного, совсем опутанного тюремными ростовщиками-татарами.

Свое заступничество за каторгу, свою обличительную деятельность Шапошников продолжает по-прежнему, но уже прикрывает ее шутовской формой, маской дурачества.

Он обличает уже не начальство, а каторгу.

– Ну, что же вы? – кричит он, когда каторга на вопрос начальства: «Не имеет ли кто претензий?» сурово и угрюмо молчит, – что ж примолкли, черти! Орали, орали, будто баланда<sup>7</sup> плоха, чалдон, мол, мясо дрянное кладет, такой, дескать, баландой только ноги мыть, а не людей кормить, – а теперь притихли! Вы уж извините их! – обращается он к начальству. – Орали без вас здорово. А теперь, видно, баландой ноги помыли, попростудились и поохрипли! Вы уж с них не взыщите, что молчат.

Или такая сцена.

---

<sup>7</sup> Арестантское название похлебки. «Чалдон» – прозвище, данное каторгой смотрителю.

– Не имеет ли кто претензий? – спрашивает зашедший в тюрьму смотритель.

– Я имею! – выступает вперед Шапошников.

– Что такое?

– Накажите вы, ваше высокоблагородие, этих негодяев! – указывает Шапошников на каторгу. – Явите такую начальническую милость. Прикажите их перепороть. Житья от них нет! Ни днем ни ночью покоя. Орут, галдят! А чего галдят? Хлеб, вишь, сыр. Врут, подлецы! Первый сорт хлеб! – Шапошников вынимает кусок действительно сырого хлеба, выданного в тот день арестантам, и тычет в него пальцем. – Мягкий хлеб! Отличный! Я из этого хлеба каких фигур налепил! Чудо! А они, вишь, есть его не могут. Свиньи!

Особенно не любит этого «дурака» доктор Сурминский, в свою очередь нелюбимый каторгой за его черствость, сухость, недружелюбное отношение к арестантам.

– Ваше высокоблагородие, – обращается к нему Шапошников в тех редких случаях, когда господин Сурминский обходит камеры, – и охота вам ножки свои утруждать, к этим идолам ходить! Стоят ли они этого? Они вас доктором Водичкой зовут, врут про вас, будто вы только водой их и лечите, а вы об них, негодях, заботитесь, к ним ходите. Плюньте вы на них, на бестий.

– Пошел прочь! – шипит доктор.

Выходит ли что-нибудь из этих протестов? Но каторга довольна хоть тем, что ее обиды не остаются без протеста.

И стонать при боли – облегчение.

Я много говорил с Шапошниковым.

Это не старый еще человек, которого преждевременно состарили горе и страдания, свои и чужие.

Он получил небольшое образование, прошел два класса реального училища, но кое-что читал и, право, показался мне куда интеллигентнее многих сахалинских чиновников.

Среди чудаческих выходок он много сказал и горького, и дельного.

– Меня здесь полоумным считают! – улыбнулся он. – Ополоумеешь! Утром встану, ищу голову – где голова? Нет головы!

А голова в грязи валяется! Ха-ха-ха!.. Голову иной раз теряешь, это верно. Да и трудно не потерять. Кругом что?! Грязь, горе, срадания, нищета, разврат, отчаяние. Тут потеряешься. Трудно человеку против течения плыть. Шибко трудно! Тонет человек – а как тонет, тут его всякий по башке и норовит стукнуть. Тонущего-то ведь можно. Он не ударит – у него руки другим заняты, он барахтается. Ха-ха-ха! По башке его, по маковке! А утонет человек совсем – говорят: «Мерзавец!» Не мерзавец, а утонувший совсем человек. Вы в городе Париже изволили бывать?

– Был.

– Ну, вот я в книжках читал – не помню, чьего сочинения, – дом там есть, «Моргой» прозывается, где утопленников из реки кладут. Вот наша казарма и есть «Морга». Иду я, гляжу, – а направо, налево, на нарах, опухшие трупы утонувших лежат. Воняет от них! Разложились, ничего похожего на человека не осталось, – и не разберешь, какая у него раньше морда была! А видать, что человек был! Они говорят: «Мерзавцы», – не мерзавцы, а утопленники. Видит только это не всякий, а тот, кто по ночам не спит. Днем-то свои, а по ночам чужие думы думает. Чужие болячки у него болят. А вы знаете, барин, кто по ночам не спит?

– Ну?

– Я да мышка, а потому всему разговору крышка!

И Шапошников запел петухом и запрыгал на одной ножке. Такие странные, бесконечно симпатичные типы создает каторга наряду с Верблинскими.

К сожалению, редки только эти типы, очень редки. Так же редки, как хорошие люди на свете.

## Убийцы (Супружеская чета)

– Душка, а не выпила ли бы ты чайку? Я бы принес.

– Да присядь ты, милый, хоть на минутку. Устал!

– И что ты, душка? Серьезно, я бы принес.

Такие разговоры слышатся за стеной целый день.

Мои квартирные хозяева, ссыльнокаторжные Пищиковы, – преинтересная парочка.

Он – Отелло. В некотором роде даже литературная знаменитость. Герой рассказа Г.И. Успенского «Один на один». Преступник-палач, о котором говорила вся Россия.

Его дело – отголосок последней войны. Его жертва была, как и многие в то время, влюблена в пленного турка. Он, ее давнишний друг, добровольно принял на себя из дружбы роль *postillon d'amour*. Носил записки, помогал сближению. Мало-помалу они на этой почве сближались, больше узнали друг друга... Он полюбил ту, которой помогал пользоваться любовью другого. Она полюбила его. Турок был забыт – уехал к себе на родину. Они повенчались, лет шесть прожили мирно и счастливо. Он был уже отцом четверых детей. Она готовилась вскоре подарить ему пятого.

Как вдруг в нем проснулась ревность к прошлому.

Этот турок, мимолетный гость ее сердца, забытый, исчезнувший с горизонта, – призраком встал между ними.

Мысль о том, что она делила свои ласки с другим, терзала, мучила, жгла его душу.

Ужасные, мучительные подозрения вставали в расстроенном воображении.

Подозрение, что она любит «того». Что, лаская его, она думает о другом.

Что дети – его дети – рождены с мыслью о другом.

Эта страшная, эта патологическая душевная драма закончилась страшной же казнью «виновной».

Пищиков привязал свою жену к кровати и засек ее нагайкой до смерти. Мучился сам и наслаждался ее мучениями. Истязание длилось несколько часов... А она... Она целовала в это время его руки.

Любила ли она его так, что даже муки готова была принять от него с благодарностью? Или прощение себе молила в эти страшные минуты – прощения за те душевные пытки, невольной виновницей которых была она...

Таков он – Пищиков. Он осужден в вечную каторгу, но, за скидкой по манифестам, ему осталось теперь 4 года.

Она – теперешняя жена Пищикова – тоже «вдова по собственной вине».

Ее процесс, хоть не столь громкий, обошел в свое время все газеты.

Она – бывшая актриса, убила своего мужа, полковника, вместе с другом дома, и спрятала в укромном месте. Труп был найден, преступление раскрыто, ей пришлось идти в каторгу на долгий срок.

Шаронихе, как ее звали на каторге, пришлось вытерпеть немалую борьбу, прежде чем удалось отстоять свою независимость, спастись от общей участи всех ссыльнокаторжных женщин.

Первым долгом на Сахалине ее, бойкую, неглупую, довольно интеллигентную женщину, облюбовал один из сахалинских чиновников и взял к себе в кухарки – со всеми правами и преимуществами, на Сахалине в таких случаях кухаркам предоставляемыми.

Но Шарониха сразу запротестовала.

– Или кухаркой, или сударкой, а смешивать два эти ремесла есть тьма охотниц, – я не из их числа.

И протестовала так громко, энергично, настойчиво, что ее пришлось оставить в покое. Тут она познакомилась с Пищиковым; они полюбили друг друга, – и пара убийц повенчалась.

Пара убийц... Как странно звучит это название, когда приходится говорить об этой милой, бесконечно симпатичной, душа в душу живущей, славной парочке.

Их прошлое кажется клеветой на них.

– Не может этого быть! Не может быть, чтобы этот нежный супруг, который двух слов не может сказать жене, чтобы не прибавить третьего – ласкового, чтобы он мог быть палачом. Не может быть, чтобы эти вечно работающие, честные, трудовые руки были обагрены убийством мужа!

Крепко схватившись друг за друга, они выплыли в этом океане грязи, который зовется каторгой, выплыли и спасли друг друга.

Не отсюда ли эта взаимная, трогательная нежность?

Он служил смотрителем маяка и в канцелярии начальника округа, – он правая рука начальника, знает и отлично, добросовестно, старательно ведет все дела.

Он, как я уже говорил, добрый, славный муж, удивительно кроткий, находящийся даже немножко под башмаком у своей энергичной жены.

Ничто не напоминает в нем прежнего Отелло, Отелло-палача.

Только раз в нем проснулась старая болезнь – ревность. Его жена до сих пор вспоминает об этом с ужасом. Он достал бритву, наточил, заперся и... сбрил свою огромную, окладистую бороду и усы.

«Страшно было взглянуть на него!»

– И не подходи ко мне после этого! – объявила госпожа Пищикова.

Он долго просил прощения и ходил с виноватым видом. Больше он уже не ревновал.

Она... Нет минуты, когда бы она не была чем-нибудь занята. То солит сельди, то делает на продажу искусственные цветы, работает в своем отличном, прямо образцовом огороде, шьет платья корсаковской «интеллигенции».

И берет... один рубль «за фасон».

– Что так дешево? – изумился я. – Да ведь это даром!

Вы бы хоть два!

Она даже замахала в испуге руками.

– Что вы? Что вы?! Ведь ему осталось еще четыре года каторги. Четыре года над ним все могут сделать! На меня рассердятся, а на нем выместят. Нет! Нет! Что вы?! Что вы?!

Надо видеть, как говорит о своем муже эта женщина, слышать, как дрожит ее голос, когда она вспоминает, что ему осталось еще четыре года каторги... сколько любви, тревоги, боязни за любимого человека слышится в ее голосе.

Я познакомился с ней еще на пароходе. Она возвращалась из Владивостока, где ей делали трудную операцию, опасную для жизни.

Едва корсаковский катер пристал к пароходу, на трап первым взбежал мужчина с огромной бородой – ее муж.

Они буквально замерли в объятиях друг друга. Несколько минут стояли так.

– Милый!

– Дорогая! – слышалось сквозь тихие всхлипывания. У обоих ручьем текли слезы.

Вспоминают ли они о прошлом?

И он и она время от времени запивают.

Может быть, это дань, которую они платят совести?

Совесть ведь берет и водкой...

## Гребенюк и его хозяйство

Бродя по Корсаковской «слободке», вы непременно обратите внимание на маленький домик, удивительно чистенький, аккуратно сделанный, щеголеватый: имеется даже терраса.

Во дворе этого дома вы вечно увидите кого-нибудь за работой.

Или пожилая женщина задает корм чушкам, или высокий, сгорбленный, болезненного вида мужик что-нибудь рубит, строгает, пилит.

Пол, как стол, – чистоты невероятной. От двери к лавке положена дорожка.

На окнах пышно разрослась герань.

Стены, потолок – все это тщательно выскоблено, вычищено, выстрогано.

Каждое выстроганное бревнышко по карнизу обведено бордюриком.

В этом маленьком домике я провел несколько хороших часов. Здесь я отдыхал душой от сахалинского смрада, от сахалинского бездомовья, повального разорения, каторжной оголтелости. Здесь дышалось легко. От всего веяло трудом, любовью к труду, маленьким, скромным достатком.

Когда вы не знаете, куда в этом вылощенном домике деть окурок, – Гребенюк идет к резному ящику и, бережно, словно драгоценность какую-то, не без гордости несет оттуда фаянсовую пепельницу.

– У нас и это есть. Сам-то я не занимаюсь, – ну, а придет кто, все-таки надоть!

К своему дому, к своему хозяйству Гребенюк относится чрезвычайно любовно.

– Ведь я здесь каждое бревнышко по имени-отчеству знаю! – с доброй улыбкой, с какой-то прямо нежностью оглядывается он кругом. – Каждое сам в тайге выискал, вырубил, своими руками сюда притащил. Сам каждое прилаживал – по праздникам, а то в обеденное время бегал сюда – работал.

И вы видите, что ему действительно знакомо и дорого каждое бревнышко. С каждым соединено воспоминание о том, как он, Гребенюк, «человеком делался».

Гребенюк – мастер на все руки и работает от зари до зари не покладая рук!

Он и цирюльник, и плотник, и столяр – всему этому выучился в каторге, – имеет огород, разводит чушек.

– Курей тоже много есть. Баба за ними ходит. Овец две пары.

Гребенюк еще каторжный. За хорошее поведение ему разрешено жить вне тюрьмы, на вольной квартире. На тюрьму он «исполняет урок»: столярничает несколько часов в сутки, а остальное время работает на себя.

– Скоро и каторге конец: на двадцать я был осужден: с манифестами да с сокращениями – через четыре месяца и совсем конец. Выйду в поселенцы, тогда уж только на свой дом стану работать.

Не в пример прочим, Гребенюку «выдана» сожительница, несмотря на то, что он еще каторжный и на такую роскошь не имеет права.

Пожилая женщина пришла «за мужа», то есть за убийство мужа; она гораздо старше Гребенюка, некрасивая.

– Ну, да я ее уважаю, и она меня уважает. Хорошо живем, нечего Бога гневить!

Это действительно сожительство, скорее основанное на взаимном уважении, чем на чем-нибудь другом. Гребенюк ее взял за старательность, за хозяйственность. Она в работе не уступает самому Гребенюку.

Гребенюк попал в каторгу «со службы».

– По подозрению осужден? – задал я ему обычный сахалинский вопрос.

Гребенюк помолчал, подумал.

– Нет, уж если вы, барин, так до всего доходите, так вам правду нужно говорить. За убийство я пришел. Барина мы убили... С денщиком мы его порешили.

– С целью грабежа?

– Нет. Из-за лютости. Лют был покойник – ах, как лют. Бил так – у меня и до сих пор его побои болят. Нутро все отшиб – так бил. За кучера я у него был, лошади у него хорошие были. В ногах я у него сколько раз валялся, сапоги целовал: «Отпустите вы меня, барин, ежели я такой дурной и никак на вас угодить не могу». – «Разве я, – говорит, – тебя держу, тебя лошади держат». От природы у меня эта склонность была – за лошадьми ходить. Лошади у меня всегда в порядке были... Да шибко вот бил, покойник! И теперь вспомнить – мутит. Тяжко!

– Было это в восемьдесят пятом году, двадцать девятого сентября, в городе Меджибоже Подольской губернии, – может, изволите знать? Барин был с денщиком в Киеве, а я при лошадях оставался. Приезжает барин домой – и сейчас в конюшню. Заместо того, чтобы как следует сказать: «Здравствуй, мол, дьявол!» или что, – прямо на меня. «Это что, – говорит, – ты мне, подлец этакий, над лошадьми сделал? А? Совсем худые стоят лошади! Что над ними, подлая твоя душа, сделал?» А у лошадей без его мыт был. Я ему докладую: «Помилуйте, барин, лошади мытились, оттого и с тела спали. Я вам об этом, сами изволите знать, телеграмму бил!» – «Врешь, – кричит, – подлец! Овес крал!» Да меня наотмашь. А у меня в те поры ухо шибко болело. Я это ладонью ухо-то закрываю, а он нет, чтобы по другому бить, – а руку мою отдирает и все по больному-то, по больному. Свету не взвидел. Вижу, нет моей моченьки жить. Я и говорю денщику: «Беспреренно нам его убить надо. Потому либо нам, либо ему, а кому-нибудь да не жить». А он мне: «Я и сам об этом тебе сказать хотел». Так и сговорились. В тот же вечер и кончили.

Гребенюк помолчал, собрался с воспоминаниями:

– Было так часов в одиннадцать. Я на кухне сидел, ждал. А денщик к нему пошел посмотреть: спит ли, нет ли? Приходит, говорит: «Можно, спит!» Выпили мы бутылку наливки для куражу – денщик с вечера припас, – разулись, чтобы не слышать было, и пошли... В спальне у него всегда ночник так вот горел, а так он лежал. Не видать. Руки у него на грудях. Спит. «Валяй, мол». Кинулись мы к нему. Денщик-то, Царенко, его сгрудил, а я петлю на шею захлестнул да и удавил.

– Сразу?

– В один, то есть, момент. И помучить его не удалось, – в голосе Гребенюка слышалась злобная дрожь, – и помучить не удалось, потому за стеной тоже барин спал, услышать мог, проснуться.

– Что же, он-то проснулся?

– Так точно, в этот самый момент проснулся, как его сгрудили. Только голоса подать не успел. Руку это у Царенки вырвал, да к стенке, – на стенке у него револьвер, шашка, кинжалы висели, ружье. Да Царенко его за руку поймал, руку отвел. А я уж успел петлю сдвинуть. Посмотрел только он на меня... Так мы его и кончили.

Гребенюк перевел дух.

– Кончили. «Теперь, мол, концы прятать надоть». Одели мы его, мертвого, как следовать, пальто, сапоги с калошами, шапку – да на речку под мостом и бросили. Дорогой, дескать, кто прикончил. Вернулись домой. «Теперича, – говорит Царенко, – давай деньги искать. Деньги у него должны быть. Что им так-то? А нам годятся». Я: «Что ты, что ты? Нешто затем делали?» – «Ну, – говорит, – ты как хошь, а я возьму». Взял он денег там сколько мог, за печкой спрятал чемодан с вещами, рубахи там были новые, тонкого полотна – к бабе к одной и поволол. Баба у него была знакомая. Через это мы и засыпались... У бабы-то у этой в ту пору еще другой знакомый был, тоже у другого барина служил. Он и видел, как Царенко вещи приносил. Как потом, на другой день, нашли нашего покойника, ему и вдомяк

– то-то, мол, Царенко вещи приносил. Пошел об этом слух. Дошло до начальства, Царенку и взяли. Он от всего отперся: «Знать, мол, ничего не знаю, задушил Гребенюк где-то под мостом, а пришел, не велел никому рассказывать и чемодан сказал отнести, спрятать. Я с испугу и послушался». Взяли тут и меня. Я долго не в сознании был: «Знать, мол, ничего не знаю». А потом взял да все и рассказал.

– Совесть, что ли, мучила?

– Нет, зачем совесть! Зло больно взяло. Сидим мы с Царенкой на абвахте по темным карцерам. Часовой тут, – хоть и запрещено, а разговаривает. Свой же брат, жалеет. Слышу я, Царенко ему говорит: «Вот, – говорит, – должен через подлеца теперь сидеть, безвинный». Так меня от этого слова за сердце взяло, – я и вскричал: «Ведите, – говорю, – меня к следователю, всю правду открыть желаю». Повели меня к следователю, – я все как есть и объявил, как было: как душили, как уговор был, где Царенко деньги сховал. Ему присудили на вечную, а мне дали двадцать лет. Так вот и живу.

– Тяжело, поди?

– Тружусь, пока в силах. Вы обо мне у кого угодно спросите, вам всякий скажет. Десять лет, одиннадцатый здесь живу – обо мне слова никто не скажет. Не только в карцере или под розгами – пальцем меня ни один надзиратель не тронул. При каких смотрителях работал! Ярцев тут был, царство ему небесное. Лютый человек был. Недраного арестанта видеть не мог. А и тот меня не только что пальцем не тронул – слова мне грубого никогда не сказал. Трудился, работал, делал что велят, из кожи вон лез. Бывало, другие после обеда спать, а я топор за пояс – да сюда: постукиваю, домишко лажу... Ничего, хорошо прожил. Здоровье вот, точно, худо стало, надорвался.

Гребенюк и вид имеет надорванный – с виду он худой, куда старше своих лет.

– Ну, а насчет прошлого как?. Жалко тебе бывает его, того, что убили? Не раскаиваешься?

– Жалко?.. Вот вам, барин, что скажу. Как хотите, так уж и судите: хороший я человек или негодный. А только я вам по совести должен сказать, как перед Истинным. Вот встань он из могилы, сюда приди – я бы его опять задушил. Десять раз бы ожил – десять бы раз задушил! Каторга! Вам тут будут говорить, что трудно да тяжело, – не верьте им, барин. Врут все, подлецы! Они настоящей-то каторги не видели. Здесь я десять лет прожил, – что! Там вот три года, – вот это была каторга, так каторга! Здесь я только и свет увидел!

– Постой, постой! Да ведь и здесь тяжкие наказания были!

– Да ведь за дело. Оно, конечно, иной раз и безо всякого дела, понапрасну. Да ведь это когда случится?! В месяц раз... А там день-деньской роздыху не знал. Ночи не спал, плакал, глаза вот как опухли. Вы не верьте, барин, им: они горя настоящего не видели. Потому так и говорят.

И в словах и в лице Гребенюка, когда он говорит о своей жертве, столько злобы, столько ненависти к этому мертвецу, – словно не двенадцать лет с тех пор прошло, а все это происходило вчера.

Тяжела вина Гребенюка, слов нет, тяжело совершенное им преступление, возмутительно его сожаление о том, что «не удалось помучить», – но ведь и довести же нужно было этого тихого, смирного человека до такого озлобления.

Я спросил как-то у Гребенюка о Царенко: где тот?

– В Александровке. Говорят, шибко худо живет. Пьет. Убить все меня собирался, зачем выдал. Пусть его!

## Паклин

Убийца и поэт. Беспощадный грабитель и нежный отец. Преступник и человек, глубоко презирающий преступление. Из таких противоречий создан Паклин.

Я получил записку:

«Достопочтеннейший господин писатель! Простите мою смелость, что я посылаю Вам свои писанья. Может быть, найдется хоть одно слово, для вас полезное. А ежели нет – прикажите Вашему слуге выкинуть все это в печку. Я жилец здесь не новый, знаю все вдоль и поперек и рад буду служить Вам, в чем могу. Чего не сумею написать пером, то на словах срублю, как топором. Еще раз прошу простить мою смелость, но я душою запорожец, трусом не бывал и слышал пословицу, что смелость города берет. Еще душевно прошу Вас, не подумайте, что это делается с целью, чтобы получить на кусок сахара. Нет, я бы был в триста раз больше награжден, если бы оказалось хоть одно словцо для вас полезным. Быть может, когда-нибудь дорогие сердцу очи родных взглянули бы на мои строки, – хоть и не знали бы они, что строки эти писаны мной. Тимофей Паклин».

В кухне дожидался ответа невысокий, плотный, коренастый рыжий человек.

Он казался смущенным и был красен, – только серые холодные глаза смотрели спокойно, смело, отливали сталью.

– Это вы принесли записку от Паклина?

– Точно так, я! – с сильным заиканием отвечал он.

– Почему же Паклин сам не зашел?

– Не знал, захотите ли вы принять каторжного.

– Скажите ему, чтоб зашел сам. Он помолчал.

– Я и есть Паклин.

– Зачем же вы мне тогда сразу не сказали, что вы Паклин? – спросил я его потом.

– Боялся получить оскорбление... Не знал, захотите ли вы еще и говорить с убийцей.

«Паклин» – это его не настоящая фамилия. Это его «nom de la guerre», фамилия, под которой он совершал преступления, судился в Ростове за убийство архимандрита.

Зверское убийство, наделавшее в свое время много шума.

Передо мной стояла в некотором роде знаменитость.

Тот, кто называет себя Паклиным, – родом казак, и очень гордится этим.

По натуре это один из тех, которых называют «врожденными убийцами».

Он с детства любил опасность, борьбу.

– Не было выше для меня удовольствия, как вскочить на молодого, необъезженного коня и лететь на нем; вот-вот сломаю голову и себе и ему. И себя и его измучаю, – а на душе так хорошо.

Самоучкой выучившись читать, Паклин читал только те книги, где описываются опасность, борьба, смерть.

– Больше же всего любил я читать про разбойников.

Свою преступную карьеру Паклин начал двумя убийствами.

Убил товарища «из-за любви». Они были влюблены в одну и ту же девушку.

Свое участие в убийстве ему удалось скрыть, – но по станице пошел слух, и однажды, в ссоре, кто-то из парней сказал ему:

– Да ты что? Я ведь тебе не такой-то! Меня, брат, не убьешь из-за угла, как подлец!

– Я не стерпел обиды, – говорит Паклин, – ночью заседлал коня, взял оружие. Убил обидчика и уехал из станицы, чтоб срам не делать родным.

Он пустился «бродяжить» и тут-то приобрел себе фамилию «Паклин».

Его взяла к себе, вместо без вести пропавшего сына, одна старушка.

Он увез ее в другой город и там поселился с нею.

– Я ее уважал все равно как родную мать. Заботился об ней, денег всегда давал, чтобы нужды ни в чем не терпела...

– Где ж она теперь?

– Не знаю. Пока в силах был – заботился. А теперь – мое дело сторона. Пусть живет как знает. Жива – слава Богу, умерла – пора уж. Деньжонки, которые были взяты из дома при бегстве, иссякли. Тут-то мне все больше и больше и начало представляться: займусь-ка грабежом. В книжках читал я, как хорошо да богато живут разбойники. Думаю, чего бы и мне? Досада меня брала: живут люди в свое удовольствие, а я как собака какая...

В это время от Паклина веяло каким-то своеобразным Карлом Моором.

– Я у бедных никогда ни копейки не брал. Сам, случалось, даже помогал бедным. Бедняков я не обижал. А у тех, кто сами других обижают, брал, – и помногу, случалось, брал.

Паклин, впрочем, и не думает себя оправдывать. Он даже иначе и не называет себя в разговоре, как «негодяем». Но говорит обо всем этом так спокойно и просто, как будто речь идет о ком-нибудь другом.

Как у большинства настоящих, врожденных преступников, женщина в жизни Паклина не играла особой роли.

Он любил «ими развлекаться», бросал на них деньги и менял беспрестанно.

Он грабил, прокучивал деньги, ездил по разным городам и в это время намечал новую жертву. Под его руководством работала целая шайка.

Временами на него нападала тоска.

Хотелось бросить все, сорвать куш, да и удрать куда-нибудь в Америку.

Тогда он неделями запирался от своих и все читал, без конца читал лубочные «разбойничьи» книги.

– И бросил бы все и ушел бы в новые земли искать счастья, да уж больно был зол я в то время.

Паклин уж получил известность в Ростовском округе и на Северном Кавказе.

В Екатеринодаре его судили сразу по семи делам, но по всем оправдали.

– Правду вам сказать: мои же подставные свидетели меня и оправдали. По всем делам доказали, будто я в это время в других местах был.

За Паклиным гонялась полиция. Паклин был неуловим и неуязвим. Одного его имени боялись.

– Где бы что ни случилось, все на меня валили: «этого негодяя рук дело». И чем больше про меня говорили, тем больше я злобился. «Говорите так про меня, – так пусть хоть правда будет». Ожесточился я. И чем хуже про меня молва шла, тем хуже я становился. Отнять – прямо удовольствие доставляло.

Специальностью Паклина были ночные грабежи.

– Особенно я любил иметь дело с образованными людьми: с купцами, со священниками. Тот сразу понимает, с кем имеет дело. Ни шума, ни скандала. Сам укажет, где лежат деньги. Жизнь-то дороже! Возьмешь, бывало, да еще извинишься на прощанье, что побеспокоил! – с жесткой, холодной, иронической улыбкой говорил Паклин.

– А случалось, что и не сразу отдавали деньги? Приходилось к жестокостям прибегать?

– Со всячинкой бывало! – нехотя отвечает он.

Нахичеванский архимандрит оказался, по словам Паклина, человеком «непонятливым».

Он отзывается о своей жертве с насмешкой и презрением.

– На кого, – говорит, – вы руку поднимаете! Кого убивать хотите? Тоже – обет нестяжания дал, а у самого денег куры не клюют.

– Как зашли мы к нему с товарищем – заранее уж высмотрели все ходы и выходы, – испугался старик, затрясся. Крикнуть хотел, – товарищ его за глотку, держит. Как отпустит, он кричать хочет. С час я его уговаривал: «Не кричите лучше, не доводите нас до преступления, покажите просто, где у вас деньги...» Нет, так и не мог уговорить. «Режь!» – сказал я товарищу. Тот его ножом по горлу. Сразу! Крови что вышло...

Рассказывая это, Паклин смотрит куда-то в сторону. На его неприятном, покрытом веснушками лице пятнами выступает и пропадает румянец, губы искривились в неестественную, натянутую улыбку. Он весь поеживается, потирает руки, заикается сильнее обыкновенного.

На него тяжело смотреть. Наступает длинная, тяжелая пауза.

Их судили вчетвером; двоих невиновных Паклин выгородил из дела.

– Об этом и своего защитника просил – чтоб только их выгораживал. А обо мне не беспокоился. Не хотел я, чтобы невиновные из-за меня шли. Молодец он, постарался!

Перед судом Паклин одиннадцать месяцев высидал в одиночном заключении, досиделся до галлюцинаций, но «духа не потерял».

Когда любимый всей тюрьмой, добрый и гуманный врач ростовской тюрьмы господин К. не поладил с тюремной администрацией и должен был уйти, Паклин поднес ему икону, приобретенную арестантами по подписке.

– В газетах тогда об этом было!

– Еще один вопрос, Паклин, – спросил я его на прощанье. – Скажите, вы верите в Бога?

– В Бога? Нет. Всякий за себя.

На каторге Паклин вел себя с первого взгляда престранно.

Нес самую тяжкую, «двойную», так сказать, каторгу. И по собственному желанию.

– Полоумный он какой-то! – рассказывал мне один из корсаковских чиновников, хорошо знающий историю Паклина. – Парень он трудовой, примерный, ему никто слова грубого за все время не сказал. К тому же он столяр хороший – в тюрьме сидя, научился, мог бы отлично здесь, в мастерской, работать, жить припеваючи. А он «не хочу», Христом Богом молил, чтобы его в сторожа в глушь, на Охотский берег послали. Туда, за наказание, самых отъявленных посылают. Там по полгода живого человека не видишь, одичать можно. Тяжелей каторги нет! А он сам просился. Так там в одиночестве и жил.

– Почему это? – спросил я у Паклина.

– Обиды боялся. Здесь – ни за что ни про что накажут. Ну, а я бы тогда простого удара не стерпел, не то что розги, скажем. От греха, себя зная, и просился. Гордый я тогда был.

– Ну, а теперь?

– Теперь, – Паклин махнул рукой, – теперь куда уж я! Затрещину кто даст – я бежать без оглядки. Оно, быть может, я бы и расплатился, да о детях сейчас же вспомню. Сожительница ведь теперь у меня, за хорошее поведение, хоть я и каторжный, дали. Детей двое. Меня ругают – а я о детях все думаю. Меня пуще – а я о детях все пуще думаю! – Паклин рассмеялся. – С меня все как с гуся вода. Бейте – не пикну... Чудная эта штука! Вот что в нем, кажись, а пискнет – словно самому больно!

И в тоне Паклина послышалось искреннее изумление.

Словно этот человек удивлялся пробуждению в нем обыкновенных человеческих чувств.

Я был у Паклина в гостях.

У него дом – лучший во всем посту. Чистота – невероятная.

Его жена, молодая, красивая бабенка, так называемая «скопческая богородица»,<sup>8</sup> присланная на Сахалин за оскотление чуть не десятка женщин.

Каких, каких только пар не сводит вместе судьба на Сахалине!

Паклин живет с нею, что называется, душа в душу. На всякий лишний грош покупает или ей обнову, или детям гостинца.

Своих двоих крошечных бутузов он показывал мне с нежностью и гордостью отца:

– Вот какие клопы в доме завелись.

В другом месте, говоря о «поэтах-убийцах», я приведу стихи Паклина, не особенно важные, но любопытные.

Он имеет небольшое представление о стихосложении. Но в его неправильных стихах, грустных, элегических много чувства... и даже сентиментальности...

Его записки о дикарях-аинцах, которых он наблюдал, живя сторожем на Охотском берегу, показывают в нем много наблюдательности, умения подмечать все наиболее типичное.

Специальность Паклина – работа шкатулок, которые он делает очень хорошо.

Я хотел купить у него одну.

Но Паклин воспротивился изо всех сил:

– Нет, нет, барин, ни за что. Даром вы не возьмете, а продать – вы подумаете, что я и знакомство с вами свел, чтобы шкатулку вам продать. Не желаю!

– Скажите, Паклин, – спросил я, когда он провожал меня с крыльца, – для чего вам понадобилось знакомиться со мной? Почему вам хочется, чтобы о вас написали?

– Для чего?

Паклин грустно улыбнулся.

– Да вот, если человека взять да живым в землю закопать.

В подземелье какое, что ли. Хочется ему оттуда голос подать или нет? «Жив, мол, я все-таки»...

---

<sup>8</sup> Этих девушек не скопят; на их обязанности лежит только совлекать в секту других.

## Поселенцы

– К вам там поселенцы пришли! – в смущении, почти в ужасе объявила квартирная хозяйка.

– Так нельзя ли их сюда?

– Что вы! Куда тут! Вы только взгляните, что их!

Выхожу на крыльцо. Толпа поселенцев – человек в двести – как один человек снимают шапки.

– Ваше высокоблагородие! Явите начальническую милость...

– Что вам?

– Насчет пайков мы! Способов никаких нет...

– Стойте, стойте, братцы! Да вы за кого меня принимаете? Я ведь не начальство!

– Точно так! Известно нам, что вы писатель... Так уж будьте такие добрые, напишите там, кому следует... Способов нет. Голодом мрем! Пришли сюда с поселений, думали работишку найти, – все подрядчики японцами работают! Пайков не дают, на материк на заработки не пускают. Помирай тут на Сакалине! Что же нам теперь делать?

– А сельское хозяйство?

– Какое ж, ваше высокоблагородие, наше хозяйство! Не то что сеять – есть нечего. У кого были семена, – съели. Скота не дают. Смерть подходит!

– Барин! Господин! Вашескобродие! – протискивается сквозь толпу невзрачный мужичишка.

Мужичишка – тип загулявшего мастерового. Хоть сейчас пиши с него «Камаринского мужика»: «борода его всклокочена, вся дешевкою подмочена». Красная рубаша от ветра надулась парусом, полы сюртучишка так ходуном и ходят.

Голос у мужичишки пронзительный, с пьяной слезой, из самых недр его пьяной души рвущийся.

Первым долгом он зачем-то изо всей силы кидает об пол картуз.

– Господин! Ваше сиятельство! Дозвольте, я вам все разьясню как по нотам! Ваше сиятельство! Господин благодетель! Это они все правильно! Как перед Господом говорю, – правильно! Потому способов нет! Сейчас это приходит ко мне, к примеру скажем, он: «Мосей Левонтич, способов нет». Я ему: «Пей, ешь, спасай свою душу!» Потому я для всякого... Правильно я говорю, ай нет? – вдруг с каким-то ожесточением обращается он к толпе. – Правильно, аль нет? Что ж вы, черти, молчите?

– Оно действительно... Оно конечно! – нехотя отвечает толпа. – Ты про дело-то, про дело.

– Потому я для всякого! На свои, на кровные! Вон они, кровные-то! – мужичишка разжимает кулак, в котором зажато семь копеек, – вон они! Обидно!

«Мосей Левонтич» бьет себя кулаком в грудь. В голосе его все сильнее и сильнее дрожит слеза.

– Правильно я говорю, ай нет? Что же вы молчите? Я за вас, чертей, говорю, стараюсь, а вы молчите!

– Оно конечно... Оно верно... Да ты про дело-то, про дело! – уже с тоской отвечает толпа.

Но «Мосей Левонтич» вошел в раж, ничего не слышит и не слушает.

– Какой есть на свете человек Мосей Левонтич?! Сейчас мне поселений смотритель лично известен. Призывает: «Можешь, Мосей Левонтич, бюсту для сада сделать?» Так точно, могу, – потому я скульптор природный. Природный!

«Природный скульптор» начинает опять усиленно колотить себя в грудь и утирает слезы.

– Не какой-нибудь, а природный! Из Рассеи еще скульптор. «Можешь?» – «Могу». – «На тебе две записки на спирт». Обидно! Что я с ними, с записками-то, делать буду? Куда денусь? Ежели у всякого свои записки есть? Правильно я говорю, ай нет? Что вы, черти...

– Ну, слушай! – перебиваю я его, видя, что красноречию «скульптора» конца не будет, – я вижу, что ты человек серьезный. Мы с тобой в другой раз поговорим. А теперь дай мне с народом покончить. Поотодвиньте-ка его, братцы.

Десяток рук берется за природного, но огорченного скульптора, – и его тщедушная фигурка исчезает в толпе. Положение тягостное.

– Что ж я для вас могу сделать? Я ничего не могу.

– Так! – уныло говорит толпа, – к кому ни пойдешь, все ничего не могут! Кто ж может-то? Делать-то теперь что же?

– Этак в тюрьме лучше!.. Куда! Не в пример!.. Там хошь работа, да зато корм!.. А здесь ни работы, ни корма. Что ж теперь делать? Одно остается: убивать, грабить! Пущай опять в тюрьму забирают. Там хошь кормить будут! Больше и делать нечего: хватил кого ни попадя! – раздаются озлобленные голоса.

Тут-то мне в первый раз пришел в голову афоризм.

– Каторга начинается тогда, когда она кончается, – с выходом на поселение.

Афоризм, который повсюду на Сахалине имел одинаковый успех, где я что ни говорил.

– Это действительно. Это правильно. Это слово верное! – говорили каторжане и поселенцы. – Это истинно, так точно!

– Совершенно, совершенно справедливо! Именно, именно так! – подтверждали в один голос чиновники.

И даже те, кому, казалось бы, следовало именно заботиться, чтобы это было не так, – и те только вздыхали.

– Вы это напишите! Непременно напишите. Это правда, глубокая правда. Ужас, ужас!

## Сожительница<sup>9</sup>

Что за фантастическая картина! Где, когда по всей России вы увидите что-нибудь подобное?

– Бог в помощь, дядя!

– Покорнейше благодарствуем, ваше высокородие! Ты бы привстала, – видишь, барин идет! – говорит мужик, вытаскивающий из печи только что испеченный хлеб, в то время как баба, развалясь, лежит на кровати.

Баба нехотя начинает подниматься.

– Ничего, ничего! Лежи, милая. Больна у тебя хозяйка-то?

– Зачем больна? – недовольно отзывается баба, снова принявшая прежнее положение. –

Слава Те, Господи!

– Что ж лежишь-то? Нескладно оно как-то выходит. Мужик – и вдруг бабым делом занимается: стряпает.

– Ништо ему! Чай, руки-то у него не отвалятся. Свои – не купленные. Пушай потрудится!

– Да ведь срам! Ты бы встала, поработала!

– Пушай ее, ваше высокоблагородие! Баба! – извиняющимся тоном говорит мужик, видимо, в течение всей этой беседы чувствуя себя ужасно сконфуженным.

– Больно мне надоть! Дома поработала – будет. Дома, в Рассее, работала, да и здесь еще стану работать! Эка невидаль! Может, и он мне потрафит. А не желает, кланяться не буду. Меня вон надзиратель к себе в сожительницы зовет. Их, таких-то, много. Взяла – да к любому пошла!

Баба – костромичка, выговор сильно на «о», говорит необычайно нахально, с каким-то необыкновенно наглым апломбом.

– Но, но! Ты не очень-то! Разговорила! – робко, видимо, только для соблюдения приличия, осаживает ее поселенец. – Помолчала бы!

– Хочу и говорю. А не ндравится – хоть сейчас, с полным моим удовольствием! Взяла фартук и пошла. Много вас таких-то безрубашечных! Ищи себе другую – молчальницу!

– Тьфу ты! Веред-баба, – конфузливо улыбается мужик, – прямо веред.

– А веред – так и сойти веред может. Сказала – недолго.

– Да будет же тебе. Слова сказать нельзя. Ну тебя!

– А ты не запряг, так и не нукай! Я тебе не лошадь, да и ты мне не извозчик!

– Тьфу ты!

– Не плюй. Проплюешься. Вот погляжу, как ты плеваться будешь, когда к надзирателю жить пойду...

– Ты какого, матушка, сплава? – обращаюсь я к ней, чтобы прекратить эту нелепую сцену.

– Пятого года.<sup>10</sup>

– А за что пришла?

– Пришла-то за что? За что бабы приходят? За мужа.

– Что ж, сразу к этому мужику в сожительницы попала?

– Зачем сразу? Третий уж. Третьего сменяю.

---

<sup>9</sup> Так называются на Сахалине каторжные женщины, выдаваемые поселенцам «для совместного ведения хозяйства». Так это называлось официально раньше. Теперь даже официально – например, в «Сахалинском календаре» – это называется «незаконным сожительством», что гораздо ближе к истине.

<sup>10</sup> 95-го. Женщин присылают обыкновенно осенью.

– Что ж те-то плохи, что ли, были? Не нравились?

– Известно, были бы хороши – не ушла бы. Значит, плохи были, ежели я ушла. Ихнего брата, босоногой команды, здесь сколько хошь: ешь – не хочу! Штука не хитрая. Пошла к поселений смотрителю: не хочу жить с этим, назначьте к другому.

– Ну, а если не назначат? Ежели в тюрьму?

– Не посадят. Не бойсь! Нашей-то сестры здесь не больно много. Их, душегубов, кажинный год табуны гонят, а нашей сестры мало. Кажный с удовольствием...

Становилось прямо невыносимо слушать эту наглую, циничную болтовню, эти издевательства опухшей от сна и лени бабы.

– Избаловал ты свою бабу! – сказал я, выходя из избы провожавшему меня поселенцу.

– Все они здесь, ваше высокоблагородие, такие, – все тем же извиняющимся тоном отвечал он.

– Меня баловать неча! Сама набалована! – донеслось из избы.

Я дал поселенцу рублишко.

– Покорнейше благодарствую вашей милости! – как-то необыкновенно радостно проговорил он.

– Постой! Скажи, по чистой только совести, на что этот рубль денешь? Пропьешь или бабе что купишь?

Мужик с минуту постоял в нерешительности.

– По чистой ежели совести? – засмеялся он. – По чистой совести, полтину пропью, а на полтину ей, подлой, гостинцу куплю!

Через день, через два я проходил снова по той же слободке. Вдруг слышу – жесточайший крик.

– Батюшки, убил! Помилосердуйте, убивает, разбойник! Ой, ой, ой! Моченьки моей нет! Косточки живой не оставил! Зарежет! – пронзительно визжал на всю улицу женский голос.

Соседи нехотя вылезали из изб, глядели, «кто орет», махали рукой и отправлялись обратно в избу:

– Началось опять!

Вопила, сидя на завалинке, все та же – опухшая от лени и сна баба.

Около стоял ее мужик и, видимо, уговаривал.

Грешный человек: я сначала подумал, что он потерял терпение и «поучил» свою сожительницу.

Но, подойдя поближе, я увидел, что тут было что-то другое.

Баба сидела, правда, с растрепанными волосами, но орала спокойно, совсем равнодушно и терла кулаками совершенно сухие глаза!

Увидев меня, она замолчала, встала и ушла в избу.

– Ах ты! Веред-баба! Прямо веред! – растерянно пробормотал мужик.

– Да что ты! Поучил, может, ее? Бил?

– Какое там! – с отчаянием проговорил он. – Пальцем не тронул! Тронь ее, дьявола! Из-за полусапожек все. Вынь ей да положи полусапожки. «А то, – говорит, – к надзирателю жить уйду!» Тьфу ты! Вопьется этак-то, да и ну на улицу голосить, чтобы все слышали, будто я ее тираню, и господину смотрителю поселений подтвердить могли. А где я возьму ей полусапожки, подлюге?!

Вот вам типичная, характерная, обычная сахалинская «семья».

## Сожитель

– Барин! Господин! Ваше высокобродие! – слышится сзади крик.

Останавливаюсь.

Подбегает, без шапки, запыхавшийся поселенец.

Видимо, гнался за мной долго и упорно.

– Я вас по всему посту ищу, бегаю!

– Что тебе?

– Изволили давеча такую-то заходить требовать?

Он называет мне фамилию одной ссыльнокаторжной, преступление которой меня интересовало.

– Да. А что?

– Дозвольте доложить. Она теперь дома.

И он спрашивает уже, понизив голос, тоном чрезвычайно конфиденциальным:

– К вам их прикажете прислать или сами пойдете?

А на лице так и светится «полная готовность» на все услуги.

– Да ты думаешь, зачем мне?

Поселенец осклабляется во всю свою физиономию: шутник, дескать, барин.

– Известно, зачем господа требуют!

Боже! Зачем я не художник, чтобы нарисовать в эту минуту эту подлую физиономию!

– Да ты кто ж такой ей будешь, что этакие дела за нее берешься устраивать?

– Я-то?

– Ты-то! Поселенец чешет слегка в затылке.

– Сожитель ейный!

– Как же ты... Как тебя даже и назвать, не знаю...

– Михайлой зовут-с!

– Как же ты... Михайла ты этакий!.. Как же ты свою же собственную сожительницу сам же...

Михайла смотрит на меня и удивленно, и иронически. «Откуда, мол, такой взялся, что никаких порядков не знает?»

– Не извольте беспокоиться, – с усмешечкой говорит он, – по здешним местам это принято. Не токмо что сожительницу или жену там – дочь представляют.

И заканчивает уж совершенно серьезно:

– Жрать надо, ваше высокоблагородие... Так вам, ваше высокоблагородие, как же-с? Требуется?

Точно становится глядеть на этого субъекта, – но разговор интересный.

– Слушай, ты! Заплачу тебе все равно, не за это, а за другое: скажи мне откровенно, где была твоя сожительница давеча, когда я заходил ее спрашивать. Вот деньги.

– Покорнейше благодарствуем...

– Слышь, только откровенно!

– Это мы всегда можем. Не извольте сумлеваться... Где ж ей быть? На фарт ходила.<sup>11</sup>

– Так вы и живете?

– Так и живем. Да нешто мы одни, барин? Оно вам, конечно, может, спервоначала не кажется. А поживете, обвыкнете! Так не требуется?.. Прощения просим. На милости

---

<sup>11</sup> Фарт – от слова «фортуна» – на арестантском языке означает вообще «счастье». Фартовый – счастливый. Для женщины «отправиться на фарт» – имеет особое, специальное значение.

покорнейше благодарим. Ваши деньги фартовые. Выиграю на них – за ваше здоровьице выпью...

И, отбежав на небольшую дистанцию, он повернулся и крикнул:

– Потребуется что – кликните Михайлу.

Он назвал свою фамилию.

– Завсегда с полным моим удовольствием!

Вот вам еще не менее типичная, обычная сахалинская «семья».

## Добровольно последовавшая

Вот изба, где живет семья, добровольно последовавшая за своим поильцем-кормильцем на Сахалин.

Они прибыли почти в одно и то же время: он – весной, семья – осенью девяносто пятого года.

По сахалинским правилам его на первое время освободили от работ, «для домообзаводства».

Как и большинство таких семей – если они приезжают с маленькими деньжонками, – они устроились сравнительно недурно.

Купили у какого-то поселенца, выехавшего на материк, избенку, завели огородишко, есть корова, разводят чушек.

По-сахалински, это совсем «слава Тебе, Господи».

В избе грязновато, но домовито.

Из-за ситцевых занавесей, закрывающих колоссальную постель, выглядят детишки.

Не сахалинские, хмурые, забитые, мрачные детишки, а со светлыми льняными волосенками, веселыми, продувными глазишками.

Видно, что дети хоть по крайней мере сыты.

Хозяина нет дома, ушел в тайгу отбывать каторжную работу, таскать бревна. Хозяйка дома работает и, видимо, чем-то сильно раздражена.

– Здравствуйте, хозяйюшка.

– Здравствуй, добрый человек. Спасибо хоть на добром слове, что доброе слово сказал. А то здесь, окромя «подлеца» да «мерзавца», и слов других нет. Только день-деньской и слышишь: подлят да мерзавят. Живой бы в землю легла, чтобы ушеньки мои не слышали. Сторона тоже, чтобы пусто ей было. Чтобы ей, окромя святых икон, скрозь землю провалиться. Господи, прости меня, грешницу! Милости просим присесть.

– Что, тетка, ужли так Сахалином недовольна?

– Да чем тут довольной-то быть, прости, Господи! Этаку даль ехали. Этакое добро везли – деньги. Последнее добро попродали. Копленное, береженое тратишь. В этакой-то глуши. Господи!

Баба принялась утирать слезы.

– Что ж теперь делать! Зачем ехала?

– Отчего едут? От страму, от стыда, – все в глаза тычут: «Муж каторжный, муж каторжный!» Побежишь куда глаза глядят от этакой жисти проклятой. Опять же мой душегуб с дороги пишет: больно хорошо, дом дают, лошадь, корову, свиней, – живи только! Никто, как он, подлый, чтоб мои слезы всю жизнь его окаянную, весь век отзывались, аспиду каторжному! Все он, ничего путем не узнавши, отписал. Нешто бы я, когда б знала, поехала! В этаку-то глушь! Ни тебе лета, ни тебе ведрышка, ни тебе дождичка вовремя! Господи!

– Ну, зато мужу участь облегчила. Мужу легче, как семья пришла. Святое дело!

На мою собеседницу напал прилив ярости.

– Ему-то, идолу, легче! Гнил бы, паралич его расшиби, в каторге, в тюрьме. Ему-то, аспиду, душегубу, чтоб его лихоманка трясла, чтоб на него, злодея этакого, трясушка напала, – ему-то легче! Да мы-то из-за его душегубства за что должны теперь мучиться, муку этакую терпеть?

– А за что муж попал?

– Купца, что ли, задавили. Я этими делами не занимаюсь. Это мужики все. Деньги нажить надумали. Как же, нажили, – свои проживаем!.. Из-за него, из-за душегубца. Дети

меня держат, дети, по рукам, по ногам вяжут. Нешто, если б не дети, стала бы я эту муку терпеть! Быть хуже каторжницы всякой, прости, Господи! Чтоб тебя ниже всякой подлой ставили!

– Ну, матушка, это уж того... Кто ж тебя ниже ставит? Напротив...

– А что ж, по-твоему, выше, что ль? Каторжной – паек, а мне – шиш с маслом. Пошла к окружному просить. «Положения, – говорит, – такого нет. На детей получай по полтора целковых, а тебе положения нет». Каторжной положение есть, а которые сами пришли, – будто нетути. Она, подлая, мужа с любовником убила – ей паек. А я эту даль за душегубом шла, родных всех побросала – мне нет ничего. Да ежели бы не дети меня вязали...

– Ну, что бы ты сделала, если бы не дети?

– На фарт бы пошла. Ужели ж на своего душегуба стала смотреть? В сожительство бы определилась. С нами вон в партии гнали каторжных. Как теперь живут – любо-дорого. Со стороны поглядеть лестно. В Рассее так чисто не ходили: полусапожки козловые, платье – кумач не кумач, ситец не ситец. Полушалок в три целковых, фартук наденет, – глаза бы не глядели. Завистно! Она утерла слезы.

– А что сделали? Мужей на тот свет поотправляли – только и всего. А тут, прости, Господи, работаешь, бьешься, ровно собака какая...

Как раз в эту минуту дверь отворилась, и на пороге появилась молоденькая сожительница, кажется, слегка выпившая:

– Тетенька Арина, нет ли у вас яичек, к нам гости пришли, – верещагу<sup>12</sup> хошь сделать.

– Нет у меня для тебя яиц. Куры еще для тебя не снеслись!

Бабенка вильнула хвостом и выбежала.

– Шкура! – напутствовала ее Арина. – Видели ее, подлую. Верещаги захотела! В будень как жрут! Повесить бы ее мало, в землю бы, подлую, живьем закопать надо, на куски резать да не дорезывать за дело-то за ее. Как она мужа на куски изрубила! А она – «верещаги». Да это ли еще! Зимой тут всем каторжным бабам работу выдали, рубахи шить. Так она, вишь ты, тварь, не может. Я ж за нее шила, нанималась, от рубахи она мне платила. От детей уходила. Я сижу рубахи шью, а она на кровати лежит, пряник жует. Тьфу!

Это была уж высшая степень бешенства. Вся горечь, вся обида на эту разницу в судьбе с каторжной сказалась в этом плевке. Бедная баба разразилась горькими слезами.

– Ну, муж-то все-таки хорош с тобой? Для дома старается, работает?

– Работает, пес его задави! Да много ль из его работы проку-то? – отвечала баба сквозь слезы. – Ни тебе ржицы, ни тебе овсеца, одна картошка. С ей и пухни... Господи, за что такое поущение!

И слезы полились еще горше. За занавеской захныкали дети.

– Цыц вы, дьяволята, нет на вас пропасти! – крикнула баба и взялась за ухват ставить в печь корчагу.

Я распрощался и вышел.

Вот вам «героиня» каторги.

---

<sup>12</sup> Верещага – яичница.

## Домовладельцы

Такой дом только и можно встретить, что на Сахалине.

Дом, никому решительно не принадлежащий.

Был и у него хозяин, да ушел на материк, покупателя не нашлось, – он и бросил дом так, на произвол судьбы.

Одно время здесь жили, кажется, певчие.

Теперь это «приют для ночлега».

Даже не ночлежный дом. У ночлежного дома есть хозяин.

А здесь приходи когда хочешь, ложись на голый пол и спи.

Чтоб пробраться к этому дому, потребовался добрый десяток минут.

– Сюда, барин! Шагайте смелей! Ничего, становитесь! – кричали мне обитатели этого дома, подбрасывая дощечки в невылазную, зловонную грязь: обитатели дома не любят ни за чем ходить далеко.

Окна все выставлены. Рам нет. Ни скамьи, ничего. Чтоб мне присесть, притащили откуда-то совместными усилиями чурку.

И вот я сижу в пустом доме на чурке, а передо мной стоят без шапок восемь «домовладельцев».

И мы беседуем об их «владениях».

У всякого из них есть свой дом где-нибудь на поселенье. Дом, выстроенный «для правов», чтобы иметь право через пять лет получить крестьянство и уехать «на ту сторону», «на материк».

– Что ж ты не живешь в своем доме? – спрашиваю наудачу у первого попавшегося.

– Да в нем и жить нельзя! В нем, вашескобродие, ежели порядочным петуху да курице, не приведи им Господь, вдвоем жить доведется, они друг друга задушат! – иронизирует он над своим «домом».

Остальные одобрительно улыбаются: и у них дома такие же.

– Зачем же ты такой строил?

– Зачем на Сахалине дома строят! Известно, для правов.

– Что ж, у тебя хозяйство, что ли, было?

– Какое, вашескобродие, хозяйство может быть? Одно слово: Сакалин! Да я, вашескобродие, позвольте вам доложить, и что с ей делают, с землей-то, не знаю. Отродясь не занимался.

– Что же ты, мастерство какое знаешь?

– Так точно. Мастерство знаю. Только мне по моему мастерству здесь делать нечего.

– Кто же ты?

– Литограф.

Литографу действительно на Сахалине, где ни одного и литографского камня-то нет, делать нечего.

– Ну, а ты?

– Мы – плотники.

– Ну, плотнику легче найти работу.

– Где ж ее тут найдешь?! Поселенцу платить нечем. Сам бьется, как ни на есть сколачивает. А то у тех берет, кто на материк уезжает. А господ, на которых бы работать, у нас, сами изволите знать, нету.

– Ну, а ты кто?

– Печники будем.

Опять та же песня: поселенец сам печи кладет, платить нечем, а «господ» нету.

– Ты?

– По торговой части занимался... Дозвольте вам, ваше-скородие, заметить, для житья прямо никаких способов нет. Питаться нечем. Казенного пайка не дают. Прекратили.

– Да ведь не может же казна вас всю вашу жизнь кормить!

– Оно, конечно, так... Справедливо изволите говорить! Только и нам без пищи жить тоже никак невозможно.

– Зачем же вы сюда пришли, в пост?

– Работу найти думали. Как можно, все-таки – пост! Не поселье дикое.

– Ну и что ж? Нашли здесь работу?

– Нет! Какая здесь работа! На промыслах на рыбных все японцы. Вон Кармаренков господин, ему от казны вспомоществование вышло, каторжными ему и завод весь выстроили, – а он с японцами работает!

– Что ж вы здесь делаете, однако? Работаете хоть что-нибудь!

– Так, придется что – работаем. Какая здесь работа.

– Так слоняетесь?

– Так слоняемся.

– Воруете?

– Что здесь у них украдешь, – самим жрать нечего!

– Ну, а сейчас чем занимались, как мне прийти?

– Так... говорили промеж себя...

– Врете, братцы. В карты небось играли? Говорите – никому не скажу!

Домовладельцы переглядываются и улыбаются.

– Так точно, играли.

У всей компании оказалось, в общей сложности, сорок восемь копеек, которые они целый день и стараются изо всех сил выиграть друг у друга.

Где они достали эти сорок восемь копеек?

Заработали?

Возможно.

Украли?

Вероятно.

## Резцов

– Да есть ли, наконец, у вас тут хоть один зажиточный поселенец, который разжился бы на Сахалине честным трудом? – уж в отчаянии восклицал я, исходив все поселье. – А то куда ни глянь, или нищета, или если зажиточный, то нажил деньги тайной продажей водки, кулачеством, ростовщичеством, самым алчным, жестоким, бесчеловечным обиранием своего же брата! Есть ли хоть кто-нибудь, кто разжился бы трудом? Или нет таких совсем?

– Как нет? Очень немного, но попадаются. Да вот вам Резцов. Зажиточный мужик и отличный человек. Он здесь даже старостой слободским одно время был. Про него слова дурного никто не скажет. На Сахалин пришел без гроша, здесь хозяйство – дай Бог всякому.

Слава Тебе, Господи! Иду посмотреть эту «гордость Сахалина».

Резцов – отличный столяр и прекрасный хозяин. У него хорошие огороды, пятнадцать штук скота, – он разводит скотину и продает в казну. И, главное, все это нажито действительно своим трудом и бережливостью.

Резцов пришел в каторгу на семь лет за убийство в драке, окончил поселенчество, теперь крестьянин...

Захожу в избу – чисто. Веет зажитком.

Резцов, молодой еще человек, производит странное впечатление.

Не то что больной – нет. А словно вот-вот свалится. Такие лица бывают у людей, проводящих бессонные ночи, – у людей с измученными, издерганными нервами.

– Здравствуйте, Резцов. Пришел посмотреть, как вы живете-можете.

– Милости просим, барин. Живем ничего. Бога гневить не стану. Огороды есть, работников держу троих, скотина... Вот, Бог даст, все продам, на материк поеду...

– Как на материк? Да ведь у вас и тут хозяйство идет, сами же говорите, – слава Богу, столярничаете.

– Ну, это что! Какое здесь мастерство? Поселенцам столяр не нужен, а господа в тюрьме все себе делают задарма.

– Ну, скот у вас, хозяйство.

– А Бог с ним и со скотом, и с хозяйством. Только бы отсюда выбраться.

– Да почему ж, наконец?

Резцов вздохнул.

– Жить здесь страшно. Жуть, оторопь берет. Вы избу по соседству изволили видеть – заколочена? Писарь тут жил с сожительницей. Деньжонки были... Недели две тому назад произошло. Утром смотрим – что он на службу не идет? Зашли, а он – мертвый, и кругом лужа крови. Зарезали. Сожительница же и подвела. Тут не токма что за деньги – за двадцать копеек друг дружку режут. Только и слухов, что там зарезали, там зарезали. Господ трогать не смеют, а своего брата – валяй сколько влезет. Нет уж, ну ее с такой жизнью! Минуты спокойной не знаешь... Ночью собака залает, вскочишь, оторопь берет, жутко, руки-ноги холодеют: уж не подходят ли? У меня тут как-то собака сдохла. Неделю потом не спал. Думал – отравили. А уж это примета верная, – отравят собаку, значит, «подойти» думают. Знают, что у меня есть деньжонки. Долго ли? Вон она тайга-то, убежал – ищи там его. Нет уж, будет! Вот, как бы не она...

Резцов указывает на еле-еле сидящую за столом сожительницу, куда старше его; баба в последних градусах чахотки.

– Ежели бы не она, – минуты бы здесь не остался. Поправится немножко, продам все, за что ни попадя, и на ту сторону. Лучше уж в бедности, чем так-то!

– Плоховата у вас хозяйка! – говорю я Резцову, когда мы выходим из избы. – Вы бы ее к доктору.

– Ходит в лазарет! – со вздохом отвечает Резцов. – Тут доктор что! Тут доктор не поможет. При ней только сказал, что, мол, «поправится»! Где!

– Да, плоховата, очень плоховата.

– Жду. Вот, может, весной этой, а не то позже осени помрет. Тогда уж распродам все – и на материк. А тоже так-то бросать ее не годится. Все, хоть и не жена, а сколько годов вместе жили, – радостей немного, а горя-то что переделили! Пускай уж помрет. Подожду.

Не правда ли, сухостью веет от этих слов? Эх, там, где речь идет о жизни, – «нет суше дерева, чем человек», по сахалинской поговорке.

## Свободные люди острова Сахалин

### I. Редактор-издатель

Редко в жизни бывал я изумлен более.

На пристани, в коротеньком тулупе, с Георгием в петлице и колоссальными жгутами тюремного ведомства на плечах, стоял, громоподобно и молниеносно распоряжаясь работами... бывший редактор-издатель газеты «Голос Москвы» и многих других В.Н. Бестужев.

Вообразите себе Геркулеса, вся грудь которого, точно в кольчуге, в орденах и медалях. В медалях и орденах, пожалованных им самому себе, на ношение которых он не имел ни малейшего права. Вот вам внешность этого стихийного человека. Вступил и вышел из военной службы рядовым. В разговоре он часто упоминал:

– Когда в таком-то году я был унтер-офицером...

– Как же ты мог быть унтер-офицером, когда ты рядовой? – интересовались приятели.

– А меня потом разжаловали, – и при всей своей ноздревской натуре он в этом отношении не лгал; едва он успевал дослужиться до унтер-офицера, как моментально подвергался разжалованию за какие-нибудь безобразные деяния. Подчиненных он не мог иметь без того, чтобы не совершить над ними какого-либо возмутительного самоуправства: мордобойства или насилия.

После военной службы он занимался всем и ничего не признавал в умеренных размерах.

Был владельцем огромного имения, вводил самое усовершенствованное, самое рациональное хозяйство, – и имение самым рациональным образом вылетело в трубу.

Затем имел огромный мыловаренный и свечной завод, где мыло и свечи должны были готовиться особенными, еще не виданными машинами. Но мыла и свечей, приготовленных невиданными машинами, так никто и не увидел.

Далее мы видим его владельцем самой большой типографии в Москве – типографии, в которой одновременно печатались: три ежедневных газеты, один еженедельный и один ежемесячный журнал, масса земской и частной работы.

Типография улетела туда же, куда улетело и имение вместе с мыловаренными заводами. Бестужев судился в московском окружном суде за двоеженство – тогда эти дела слушались с присяжными заседателями – и был оправдан, хотя факт преступления был признан. Из дела выяснилось, что свою вторую жену, богатую вдову-купчиху, Бестужев прельстил, выдавая себя за камер-юнкера и несметного богача. Все состояние несчастной женщины было потом проиграно в карты и истрачено на разные аферы. Разбирательство этого громкого процесса наделало в свое время много шума в Москве. Перечислить «мелкие дела» Бестужева не было бы никакой возможности: почти еженедельно у кого-нибудь из московских мировых судей разбиралось какое-нибудь «бестужевское дело»: или по иску с него, или по обвинению его в самоуправстве, драке и насилии.

Бестужев был одновременно редактором-издателем *четырёх* ежедневных газет<sup>13</sup> и издавал из них одновременно три!!!

Его литературная известность была грандиозна, но скоротечна. Он вдруг создал себе всероссийскую известность, но в тот же момент ее и утратил.

Он в одно прекрасное утро «проснулся знаменитостью».

---

<sup>13</sup> Из которых три должны были выходить в Москве, а одна – в С.-Петербурге.

Ничего не подозревая, напечатал в издаваемой им газете «Жизнь» пушкинскую «Пиковую даму»... как произведение какого-то начинающего литератора Ногтева. Все дальнейшие извинения и объяснения редакции ничего не прибавили к лаврам, заработанным в один день.

О газете «Жизнь» говорили все газеты!

Но это была единственная минута литературного успеха.

Бестужев в журналистике играл роль душеприказчика, «брата милосердия».

На его руках умирали газеты.

На его руках покончил свои недолгие, но многострадальные дни «Голос Москвы».

На его руках скончалась начатая господином Плевако и dokonченная литературными самозванцами газета «Жизнь».

На его руках умер им же основанный «Вестник объявлений и промышленности».

На его руках замерло, не издав даже писка, многогрешное «Эхо», купленное Бестужевым у петербургского адвоката, господина Т., – знаменитого господина Т., который, защищая еще более знаменитую Луизу Филиппо, обвинявшуюся «в публичном оскорблении общественной нравственности», вынужден во время речи из портфеля одну из принадлежностей ее туалета, потрясал этой шелковой безделушкой в воздухе и патетически восклицал:

– Неправда! Вот в чем она была в вечер преступления.

Как видите, все дело состоит только в том, что шелк не выдержал и лопнул от усиленного канкана!

По окончании литературной деятельности Бестужев сразу превратился в... станового пристава Нижегородской губернии. Собственно живейшее его желание было принять участие в шумевшей тогда Ашиновской экспедиции. Бестужев составил уже свой собственный отряд и изумлял Москву, щеголяя в необыкновенной черкеске, увешанной оружием и с небывалыми орденами. Но знаменитый «атаман» отказался принять Бестужева к себе в есаулы.

Больно буен.

С горя бывший редактор и неудавшийся есаул и пошел в становые. В становых он не удержался: превысил власть, натворил каких-то насилий, и мы видим экс-редактора в роли исправника в Томске.

Затем мы его видим... вернее, мы его совсем не видим.

Из Томска, не удержавшись в исправниках и натворив каких-то «дел», он уезжает в Буэнос-Айрес с целым караваном проводников и слуг, зачем-то объезжает Аргентину.

Далее он живет в Чили, ищет счастья в Калифорнии, отбывает за что-то срок в каторжной тюрьме в Сан-Франциско, – в конце-концов я встретил его на Сахалине в роли смотрителя поселений, устроителя быта отбывших наказание преступников и насадителя колонизации.

Таковы, в кратких чертах, жизнь и приключения этого помещика, заводчика, редактора, станового и кругосветного путешественника.

Интересна была первая фраза, которою приветствовал меня Бестужев, мой старый приятель.

– Ты? На Сахалине? – воскликнул я.

– А где ж ты думал меня встретить? – расхохотался Бестужев. – Хорошо еще, что хоть чиновником.

При всех своих недостатках, он был человеком правдивым и как-то в беседе сказал мне:

– Здесь нужны лучшие люди, а кого сюда присылают?! Кто там, в России, ни к чему не пригоден! Да вот хоть меня возьми.

А я, честное слово, еще не из худших.

Он действовал на Сахалине так же бурно, бестолково и не стеснялся никакими законами, как и всю свою жизнь.

Он основывал новые селения, устраивал мастерские, построил церковь, школу, дом для приезжих – и все это без копейки денег – за водку. О «пользе» вообще такой экономической и экономной политики я скажу ниже, а теперь только констатирую факт, что в результате Бестужевских «забот» явилось повальное и совершенное обнищание вверенных его попечениям поселенцев.

Человек «старого склада мыслей», он слыл в своем округе «крутым, но отходчивым, бестолковым барином». И я не думаю, чтобы его образ управления «вверенными душами» особенно способствовал водворению в этих «душах» какого бы то ни было представления о законности... Когда по повальному разорению поселенцев увидели, что Бестужев в устроители сельского хозяйства не годится, его сделали смотрителем Корсаковской тюрьмы. Тут, оказавшись главою над бесправными, лишенными возможности протестовать людьми, Бестужев развернулся во всю ширь и мощь своей дикой натуры: бил, колотил, драл неистово – что на Сахалине редкость, имел даже «неприятность» от начальства за то, что подвергал жестоким телесным наказаниям людей, заведомо больных и освобожденных от телесных наказаний. Бог весть, чем бы все это безобразие кончилось, если бы Бестужев вдруг не попал под суд. Контроль открыл бесцеремонное хозяйничание казенными деньгами. Бестужев был смещен и отдан под суд.

Надеясь, что ему удастся как-нибудь «отговориться», он поехал к генерал-губернатору в Хабаровск, но там его ждал последний удар.

Бестужев дожидался своей очереди в приемной, когда вышел чиновник особых поручений и сказал:

– Генерал приказал передать вам, что он вас не примет...

Довольно! Ваше дело будет решено по закону.

Тучный Бестужев зашатался, лицо его потемнело, он упал, на губах показалась пена.

Прибежал доктор. Бестужев был мертв.

Он умер от апоплексического удара.

Так кончил свои дни этот «свободный человек острова Сахалина».

Каторга, любящая всем давать свои прозвища, прозвала его «атаман-буря».

## II. «Сахалинский Орфей»

Корсаковск – это царство селедки.

– Селедка идет!.. – Это событие для тюрьмы, поселенцев, промышленников – для всех. Это то, чем живут целый год.

Что за фантастическая картина! Что за декорация из какой-то феерии!

По морю течет молочная река.

На версту от берега вода побелела, стала молочного цвета.

А кругом, кругом!

Блещут фонтаны китов, режут сивучи (моржи), с воплями носятся тысячи чаек.

И над всем этим царит господин Крамаренко.

«Сахалинский Орфей», променявший скрипку на селедку.

Но и скрипка не всегда была постоянным инструментом господина Крамаренко. Когда-то он играл на другом инструменте – щелкал на счетах, служа в конторе кого-то из астраханских рыбопромышленников.

Господин Крамаренко – человек молодой годами, но «старый опытом».

В тридцать лет он успел стать конторщиком, скрипачом-виртуозом и превратиться в рыбопромышленника.

Вкусил лавра и питается селедкой.

Господин Крамаренко – астраханский мещанин. Так сказать, земляк астраханской сельди. Но этим и кончается все его родство с соленой рыбой.

По его собственному искреннему, чистосердечному и делающему ему честь сознанию, он о селедке имеет ровно столько же понятия, сколько всякий, кому случалось видеть эту рыбу приготовленной с уксусом, маслицем, горчишкой, свеклой, лучком и картофелем.

Он знает, что селедка – великолепная и рифма, и закуска к водке.

Но на этом все его познания и кончаются.

Даже ваш покорнейший слуга – и тот оказался более опытным рыбопромышленником в сравнении с этим «сахалинским Орфеем».

– Зачем вы солите селедку только сухим способом? То есть кладете и пересыпаете солью? – спросил я. – Отчего бы вам не пускать рыбу в готовый тузлук (рассол)? Наглотавшись тузлука, рыба лучше бы просолилась и была бы нежнее.

Господин Крамаренко посмотрел на меня во все глаза, как на человека, только что открывшего Америку.

– А ведь, знаете, это идея!!! Непременно попробую.

Хороша «идея», которая уж десятки лет применяется на практике! Об этом способе засола селедки я слышал лет шесть перед тем, на нижегородской ярмарке, от керченских рыбопромышленников.

– Да у вас, что же, были свои рыбные промыслы в Астрахани?

– Нет.

– Служили вы на промыслах?

– Тоже нет. Я занимался счетоводством в конторе у купца. Ну, а когда начинался ход селедки – эта ведь неделя весь год кормит, – тогда всякое счетоводство побоку: нас всех посылали на промыслы смотреть за рабочими. Тут я и видел.

Вот и все. Вся его школа. Все его познания.

Потерпев какое-то крушение на родине, господин Крамаренко, как человек предприимчивый, забросил счета, взял под мышку скрипку, на которой для любителя хорошо играл, и уехал в Уссурийский край, куда в те времена тянуло многих.

Здесь он имел сразу успех. Можно сказать, весь край плясал под его скрипку.

Господин Крамаренко играл на свадьбах, на крестинах, на именинах, украшал себя фантастическими медалями экзотических владык и давал концерты в качестве «придворного виртуоза эмиров афганского, бухарского и киргиз-колпакского».

Он одинаково охотно играл Венявского, Берлиоза, польку «трам-блям», концерты Паганини и кадрили «Вьюшки», изображал при помощи смычка, как «баба голосит», и отжаривал на скрипке, как на балалайке, трепака.

Когда же все это разнообразное искусство достаточно поднаедало и ему, и всему краю, господин Крамаренко уехал «концертировать» на Сахалин.

На Сахалин он попал как раз в минуту «рыбного замешательства» и даже «рыбного помешательства».

– Рыба – вот в чем богатство Сахалина! – кричали справа и слева.

На самом деле, рыбы – уйма, рыбу девать некуда, рыбой кишат реки, рыба мириадами трется у морских берегов.

А как к ней приступить, что с нею делать, как ее солить, – никто не знал.

Всякий ел селедку, но решительно не знает, как она готовится. Положение трагическое!

И вдруг приезжий скрипач-виртуоз, в антракте между двумя отделениями танцев, объявляет:

– А ведь я, господа, в Астрахани был, на рыбных промыслах жил, как селедку солят, знаю.

За него ухватились как за находку.

Господина Крамаренко назначили на три года «техническим надзирателем» за тюремными рыбными промыслами.

Поручили ему исследования по рыбному делу на Сахалине.

И в результате этих исследований помогли выстроить собственный рыбный завод.

Астраханский конторщик и свадебный скрипач превратился в крепостного владельца.

Отпущенные ему в помощь, за грошовую плату казне, каторжные строили ему завод, погреба, подвалы.

Правда, погреба мало на что годятся, рыба в них портится, подвалы для засола рыбы текут, и тузлук из них уходит. Но это уж вина не каторжных, отданных во временное крепостное пользование господину Крамаренко, – это вина самого скрипача-архитектора.

Первые опыты господина Крамаренко были довольно печальны. С первых же шагов он сильно и основательно шлепнулся, можно сказать, на гладком месте.

Первый ход селедки он пропустил. Второй хоть и не прозевал, но толку не вышло: тузлук вытек, и рыбу пришлось обратно выкинуть в море. При третьем ходе хоть и получилась наконец желанная селедка, но такая дрянь, что никто брать не хотел.

Господин Крамаренко теперь «учится». Да и чего ж не учиться? Даровой лес и за гроши доставшийся труд каторжных. В виде маленькой ежегодной субсидии – 1000 рублей вперед за рыбу, которую господин Крамаренко обязан поставить в тюрьму. Потом, впрочем, эту субсидию от господина Крамаренко, кажется, отняли, убедившись, что это за рыбопромышленник. В «Сахалинском календаре» вы найдете статью господина Крамаренко, в которой он очень громко и весьма справедливо выступает против «хищничества» японских рыбопромышленников.

На самом деле! Такую ценную рыбу, как сельдь, они ловят на Сахалине стадами, варят в котлах и превращают в удобрительные туки.

Разве это не варварство? Разве не хищничество?

Что же делает сам господин Крамаренко?

Ловит сельдь, варит ее и готовит из нее тук, то есть занимается тем же самым хищничеством, против которого так горячо и справедливо выступает. Весь его игрушечный комический «засол» рыбы не дает ни гроша, простая игра для отвода глаз.

Главное его дело – он и сам не скрывает – «туковое дело». Приготавливая удобрительный тук из селедки, он продает его тем же самым японцам. Вся разница состоит только в том, что казна с «поощряемого» господина Крамаренко получает гораздо меньше, чем получала бы с арендаторов-японцев. К хищничеству тут следует еще добавить и «обставление» казны. Промыслы господина Крамаренко ничего не дают населению, потому что, сам подставное лицо японцев, господин Крамаренко работает исключительно с японскими рабочими.

В чем же, однако, секрет такого быстрого, крупного и ничем, казалось бы, не заслуженного успеха этого виртуоза? – спросите вы.

Очень просто.

В том, что на Сахалин мало кто едет по доброй воле.

Каждый добровольец-предприниматель, как редкость, здесь встречается с распростертыми объятиями, находит поддержку и помощь.

Жаль только, что эти предприниматели-то...

Нет спора, край многим и многим богатый, но он требует людей знания, людей дела, а не кулаков-эксплуататоров, не свадебных скрипачей, готовых схватиться за что угодно, не людей «без определенных занятий, средств и образа жизни»...

А там исключительно «орудуют» или неудачники, потерпевшие в России крушения на всех поприщах, или хищники, – какие это плохие устроители благосостояния действительно «несчастливых» острова Сахалин.

### III. «Спиртовая торговля»

Если Сахалин, как в шутку называют его местные чиновники, «совершенно особое, самостоятельное государство», то Корсаковский округ, непроходимыми тундрами и тайгой отрезанный от административного центра, поста Александровского, представляет собой уже «государство в государстве», «Сахалин на Сахалине».

Здесь свои особые порядки, обычаи, законы, даже своя особая денежная единица.

Наши обыкновенные денежные знаки в Корсаковске упразднены. Вся торговля, все дела ведутся на спирте.

Денежная единица Корсаковского округа – бутылка спирта, даже не бутылка спирта, а записка на право купить бутылку спирта. Чтобы понять эту «девальвацию», очень выгодную для многих, надо знать условия продажи спирта на Сахалине.

Спиртом имеет право торговать только колонизационный, он же экономический, фонд.

Невозбранно и в каком угодно количестве спирт могут покупать только люди свободного состояния, то есть чиновники.

Поселенцам же разрешается покупать спирт перед праздниками или по запискам лиц свободного состояния.

«Отпустить такому-то бутылку спирта. Такой-то».

В фонде бутылка спирта стоит 1 руб. 25 коп., рыночная ее цена колеблется от 2 р. 50 коп. до 6 рублей.

Поселенец, получив такую записку, выкупает на свои деньги в фонде бутылку спирта и перепродает ее с прибылью поселенцам же и каторге.

А то просто перепродается сама записка. Записки ходят как ассигнации. Бывают даже подложные!

На эти записки чиновники покупают у поселенцев соболей – по записке за шкуру, – этими записками платят за поставленные продукты, за сделанные работы.

В сущности, таким образом они получают все даром, предоставляя только поселенцам возможность заниматься торговлей водкой и спаивать каторгу.

Смотритель поселений Бестужев, лично для себя не применявший этого «порядка», как я уже говорил, пробовал зато применить этот «порядок» к казенным работам.

Он быстро построил, без копейки денег, церковь, школу, мастерские, дом для приезжающих чиновников, – за все расплачиваясь записками.

Он рассуждал так:

– Если господа служащие делают так, почему же не делать казне? Пусть уж лучше в казенный карман идет, чем в карманы господ служащих.

Совершенно забывая, что «quod l icet bovi – non l icet Iove».

К сожалению, изобретательный финансист не рассчитал одного.

Что с появлением на «рынке» массы записок цена на них упадет.

Так и случилось.

Работавшие поселенцы разорились вконец: думая получить за записки рубли, они получили гроши.

Среди нищенствующих в Корсаковске пришлых поселенцев мне много приходилось встречать жертв этой оригинальной финансовой затеи.

Я не стану уже говорить о влиянии этой «спиртовой системы» на нравственность поселенцев.

За спирт в Корсаковске продается и покупается все – до сожительницы или дочери включительно.

Но какое же уважение может иметь каторга к чиновникам, даром покупающим ее труд, и чиновникам, торгующим спиртом?

А на Сахалине так много говорят о необходимости поддерживать престиж.

– Каторга распускается! Становится дерзка, непослушна!

Как будто «престиж» создается и поддерживается одними наказаниями.

## IV. Бирич

Бирич – мой сосед по комнате. Он живет у того же ссыльнокаторжного Пищикова, у которого остановился и я.

Он – компаньон одного из крупных рыбопромышленников и ужасно любит говорить о том, какие огромные убытки он терпит благодаря дурной погоде.

– Помилте-с. Законтрактованные пароходы с японцами-с не идут. Тут каждый день дорог-с. Не нынче – завтра селедка пойдет. Ведь это мне тысячными убытками пахнет-с. Ведь я тысячи могу потерять-с.

Он ужасно любит подчеркнуть это слово – «тысячи».

Бирич – человек средних лет, маленький, невзрачный, одет не без претензии на франтовство, по жилету «пущена» цепь, на которую смело можно бы привязать не часы, а собаку.

Ото всей его особы ужасно веет не то штабным писарем, не то фельдшером, «вышедшим в люди».

Так оно впоследствии и оказалось.

При встрече, при прощанье он обязательно по несколько раз жмет вам руку, словно это доставляет ему особое удовольствие – здороваться за руку.

Когда «заложит за галстук» – а это с ним случается часто, – Бирич становится особенно невыносим своей назойливостью и необыкновенной развязностью.

Он является без спроса, говорит без умолку и в разговоре принимает позы одна свободнее другой.

Собственно говоря, он даже не столько говорит, сколько позирует.

То раскинется на стуле и заложит ногу за ногу так, что они у него чуть не на столе. То встанет и поставит ногу на стул.

«Вот человек, который стремится к тому, чтобы ноги у него были непременно выше головы», – думал я, улыбаясь про себя.

То он хлопнет вас по колену. То возьмет за борт сюртука. То бросит свой окурок в ваше блюдечко.

И все это решительно без всякой надобности, просто, словно он каждую минуту хочет доказать вам, что он с вами на равной ноге и может вести себя непринужденно.

Эта мысль словно тешит его, доставляет ему невыразимое наслаждение.

Когда подопьет, Бирич особенно яростно принимается ругать ссыльнокаторжных.

Это, кажется, его главное занятие.

Право, с первого раза можно подумать, что у человека перерезали целую семью. Такая глубокая, непримиримая, яростная ненависть.

Бирич явился ко мне, прежде чем я даже успел устроиться в своей комнатке.

Несколько раз пожал мою руку, заявил, что очень рад «знакомству с образованным человеком», с первого же абцуга объявил мне, что у него жена институтка<sup>14</sup> и живет на рыбных промыслах, рассказал про свои «тысячные убытки» и вызвался быть моим ментором.

---

<sup>14</sup> Дочь одной интеллигентной особы, приговоренной за поджоги. По окончании института она приехала к матери на Сахалин и здесь сделала такую «партию».

– Я Сахалин как свои пять пальцев знаю. Вы только меня слушайте. Я вам все покажу. Увидите, что это за мерзавцы, за негодяи.

Когда Бирич говорит о каторге, он даже забывает прибавлять слово «ерик», которое прибавляет обыкновенно чуть не за каждым словом. До того его разбирает злость!

– Вы хорошенько их, негодяев, распишите! Чтобы знали, что это за твари! Распущены – ужас! Еще бы! Деликатничают с ними! «Жалеют» мерзавцев! Их жалеть! Драть их, негодяев, надо! Вот прежде господин Ливин был смотрителем или Ярцев-покойник, царство ему небесное, – драли их, – тогда и была каторга. А теперь – помилуйте! Какая это каторга? Разве это каторга? Издевательство над законом – и больше ничего.

– Да вы что... может быть, не потерпели ли через них какого-нибудь убытка? Может быть, работали они у вас?

Бирич даже вспыхнул весь.

– Я? Да чтоб с ними? Да спасет меня Господь и помилует!

Чтоб с этим народом имел дело?! Да в петлю лучше! Нет, у меня японцы – никого, кроме японцев, – помилуйте, разве можно с ними? Я в прошлом году попробовал было взять поселенцев – подряд у меня был на железную дорогу, на шпалы, – так жизни не был рад. Это такие негодяи, такие мерзавцы...

И т. д., и т. д., и т. д. Становилось тошно слушать, а отделаться от Бирича было невозможно.

Нравилось ему, что ли, со мной везде показываться, но только Бирич не отставал от меня ни на шаг.

Иду по делу, гулять – Бирич как тень. В каторжный театр пошел – Бирич и тут увязался, за место в первом ряду заплатил.

– Посмеемся! Нет, каковы твари, а? Будний день, а у них театры играют.

– Да ведь Пасха теперь.

– Для каторжных Пасха – три дня. По-настоящему бы один день надо, да уж так распустили, свободу дают. А они, негодяи, целую неделю. А? Как вам покажется? И это каторга? Поощрение мерзавцев, а не каторга. Жрут, пьют, ничего не делают, никаких наказаний для них нет...

В конце концов меня даже сомнение начало разбирать.

– Что-то ты, братец, уж очень каторгу ругать стараешься?

Странновато что-то...

Идем мы как-то с Биричем по главной улице, как вдруг из-за угла, неожиданно, лицом к лицу, встретился с нами начальник округа.

Бирич моментально отскочил в сторону, словно электрическим током егохватило, и не снял, а сдернул с головы фуражку.

Нет! Этого движения, этой манеры снимать шапку не опишешь, не изобразишь.

Она вырабатывается годами каторги, поселенчества и не изглаживается потом уж никогда.

По одной манере снимать шапку перед начальством можно сразу отличить бывшего ссыльнокаторжного в тысячной толпе.

Хотя бы со времени его каторги прошел десяток лет, и он пользовался бы уже всеми «правами».

Вся прошлая история каторги в этом поклоне – то прошлое, когда зазевавшемуся или не успевшему при встрече снять шапку каторжному говорили:

– А пойдика, брат, в тюрьму. Там тебе тридцать дадут.

Начальник округа прошел.

Бирич почувствовал, что я понял все, и сконфуженно смотрел в сторону.

Неловко было и мне.

Мы прошли несколько шагов молча.

– Много мне пришлось здесь вытерпеть, – тихо, со вздохом сказал Бирич.

Я промолчал.

Вплоть до дома мы прошли молча.

А вечером, «заложив за галстук», Бирич снова явился в мою комнату и принялся нещадно ругать каторгу. Только уже теперь он прибавлял:

– Разве мы то терпели, что они терпят? Разве мы так жили, как они теперь живут? А за что, спрашивается? Разве мы грешнее их, что ли?

И вся злоба, вся зависть много натерпевшегося человека к другим, которые не терпят «и половины того», сказывались в этих восклицаниях, вырвавшихся из «нутра» полупьяного Бирича.

Как я узнал потом, он – из фельдшеров, судился за отравление кого-то, отбыл каторгу, поселенчество, теперь не то крестьянин, не то уж даже мещанин, всеми правдами и неправдами скопил копейку и кулачит на промыслах.

Каторга его терпеть не может, ненавидит и презирает как «своего же брата».

Никогда и никто так не прижимал поселенцев, как Бирич, когда они работали у него по поставке шпал.

Таков Бирич.

Его мелкая фигурка не стоила бы, конечно, и малейшего внимания, если бы его отношение к каторге не было типичным отношением бывших каторжников к теперешним. Это безразличное отношение вылезших из грязи к тем, кто тонет еще в этой грязи.

Сколько я не видел потом на Сахалине мало-мальски разжившихся бывших каторжников, все они говорили о каторге злобно, недоброжелательно.

Не иначе.

У более интеллигентных и воспитанных, конечно, это высказывалось не в такой грубой форме, как у Бирича. Но недоброжелательство звучало в тоне и словах.

И никто из них, хотя бы во имя своих прежних страданий, не посмотрит более чуждо на чужие страдания, не посмотрит на каторжного как на страдающего брата.

Нет! Страдания только озлобляют людей!

Словно самый вид каторжных, их близость, оскорбляют этих выплывших из грязи людей, напоминают о годах позора.

– Сам был такой же, – звучит для них в звоне кандалов, и это озлобляет их.

– Тоже носил! – читают они на спине арестантского халата в этих «бубновых тузах».

И в основе всего их недоброжелательства, всей злобы против каторги, всех жалоб на «распущенность, слабость теперешней каторги» звучит всегда один и тот же мотив:

– Разве мы то терпели? Почему же они терпят меньше нас?

И из этих-то людей, так относящихся к каторге, из бывших каторжников зачастую назначают надзирателей, непосредственное, так сказать, начальство, играющее огромную роль в судьбе ссыльнокаторжного.

Можно себе представить, как относится к каторге подобный господин, когда он получает возможность не только словами, но и более существенно выражать свое недоброжелательство.

## Каторжный театр

На всех столбах, на всех углах поста Корсаковского расклеены афиши, что «в театре Лаврова, с дозволения начальства, в неделю св. Пасхи даются утренние и вечерние спектакли».

У маленького, наскоро сколоченного балаганчика с унылым видом стоит антрепренер – местный булочник Лавров.

Беднягу постигла та же судьба, что и его российских собратий: он терпит антрепренерскую участь – прогорает.

Надеялся на поддержку «интеллигенции», лишенной, кроме карт и водки, каких бы то ни было удовольствий. Но чиновники, конечно, в каторжный театр не пошли.

До чего *старается* туземная «интеллигенция» сторониться от каторги, показывает хотя бы следующий факт. Начальник округа жаловался мне, что большинство «интеллигенции» не пожелало быть подписчиками основывающейся библиотеки только потому, что там подписчиками могут быть и каторжные. Словно эти бедные люди боятся, что их могут смешать как-нибудь с каторгой!..

Мое первое посещение театра вышло неудачным.

«Great attraction» спектакля, чтение «Записок сумасшедшего» состояться не могло по самой необыкновенной в истории театра причине.

– Так как артист Сокольский посажен в кандальную тюрьму! – как анонсировали со сцены.

Зато на следующий день спектакль удался на славу.

Артист Сокольский не пил и в кандальную не попал.

По случаю праздника театр был полон.

Артисты старались «перед литератором» изо всех сил.

Нарочно для меня песельники пели не обыкновенные, а специально тюремные песни.

Были даже приготовлены куплеты в честь моего приезда. Куплеты, в которых приветствовался приезд писателя и где я предупреждался, что, показывая мне каторгу, мне часто будут напевать:

Не моя в том вина,  
Наша жизнь вся сполна  
Нам судьбой суждена!..

Но начальство заблаговременно узнало и пение этого куплета запретило.

Театр убран по стенам елочками.

Сцена отделена занавеской из какой-то грязной дерюги, долженствующей изображать занавес. Пол на сцене – земляной.

5 часов вечера.

Театр полон. Галерка волнуется.

Поселки со своими сожителями. Поселенцы. Серые бушлаты каторжников. Коей у кого из перворядников желтые тузы на спине.

За дерюжной занавеской песельники тянут унылую, мрачную песню сибирских бродяг:

Милосердные наши батюшки,  
Милосердные наши матушки,  
Помогите нам, несчастеньким,

Много горя повидавшим!  
Выносите, родные, во имя Христа,  
Кто что может сюда,  
Бедным странничкам, побродяжничкам.  
Помогите, родные: золотой венец вы получите  
На том свете, а на нынешнем  
Поминать в тюрьмах будем мы  
Вас, наши родные.

Песня стихает на долгой жалобной ноте. «Занавес» отдергивают. Спектакль начался.  
Для начала идет сцена: «Опять Петр Иванович!»

Из-за грязной занавески, долженствующей изображать ширмы, появляется традиционный Петрушка.

Плут, проказник, озорник и безобразник – даже бедный Петрушка, попав в каторгу, «осахалинился».

Всюду и везде, по всей Руси он только плутует и мошенничает, покупает и не платит, дерется и надувает квартального.

Здесь он еще и отцеубийца.

Это уже не веселый Петрушка свободной Руси, это мрачный герой каторги.

Из-за занавески показывается старик, его отец.

– Давай, сынок, денег!

– А много тебе? – пищит Петрушка.

– Да хоть рублей двадцать!

– Двадцать! На вот тебе! Получай! Он наотмашь ударяет старика палкой по голове.

– Раз... два... три... четыре... – отсчитывает Петрушка.

Старик падает и перевешивается через ширму. Петрушка продолжает его бить лежащего.

– Да ведь ты его убил! – раздается за ширмой голос хозяина.

– Зачем купил – свой, доморощенный! – острит Петрушка.

Это вызывает взрыв хохота всей аудитории.

– Не купил, а убил, – продолжает хозяин. – Мертвый он.

– Тятенька, вставай! – тербит Петрушка отца под непрекращающийся смех публики. –

Будет дурака-то валять! Вставай! На работу пора!

– А ведь и впрямь убил! – решает наконец Петрушка и вдруг начинает выть в голос, как в деревнях бабы воют по покойникам: «Родимый ты мой батюшка-а-а! На кого ты меня спо-ки-и-нул! Остался я теперь один одинешене-ек, горьким сироти-и-нушкой».

Прямо восторг охватывает публику.

Стон, вой стоят в театре. Топочут ногами. Женский визгливый смех сливается с раскатистым хохотом мужчин.

Тошно делается...

Похождения кончаются тем, что является квартальный и Петрушку ссылают на Сахалин.

Прощай, Одеста,  
Славный карантин!  
Меня посылают  
На остров Сакалин, —

поет Петрушка.

– Ловко! – вопит публика.

– Биц! – громче всех кричит какой-то подвыпивший поселенец.

Он человек образованный, в антракте нарочно громко повествует, как бывал в Москве «в Скоморохе театре», всякую камедь видал.

«Биц» он кричит специально для меня, чтобы обратить внимание на свою образованность.

Номера, один другого «фурорнее», следуют друг за другом.

Бродяга Федоров в пестром костюме, что-то вроде костюма Арлекина, поет куплеты на мотив из «Боккачио».

Не моя в том вина...

Федоров служил когда-то при театре, был театральным парикмахером.

Он поет верно, без аккомпанемента, затрагивает местные злобы дня.

Баланду, которой не едят даже свиньи; коты, которые надо в руках, а не на ногах носить; расползающиеся по швам халаты и т. п.

Его успех идет все crescendo. Он повторяет без конца, и за каждым куплетом мой образованный зритель кричит:

– Биц!

Федоров сияет, расшаркивается, кланяется на все стороны, прижимает обе руки к сердцу.

Занавес снова отдергивают; на сцене – три сдвинутых табурета.

Сидевший вчера в кандалной Сокольский в арестантском халате читает «Записки сумасшедшего».

И что это? В этом Богом забытом, людьми проклятом уголке на меня пахнуло чем-то таким далеким отсюда...

С этой каторжной «сцены» пахнуло настоящим искусством. Этот бродяга, видимо, когда-то любил искусство, интересовался им. От его игры веет не только талантом, но и знанием сцены, – он видал хороших исполнителей и удачно подражает им.

Он читает горячо, с жаром, с увлечением. «Живой душой» повеяло в этом мире под серыми халатами погибших людей...

У Сокольского настоящее актерское лицо, нервное, подвижное, выразительное.

Он эпилептик, в припадке откусил себе кончик языка, немного шепелявит, и это слегка напоминает покойного В.Н. Андреева-Бурлака.

В «Записках сумасшедшего» Гоголя осталась только одна фраза:

«А знаете ли вы, что у алжирского дея под самым носом шишка?»

Все остальное – импровизация, местами талантливая, местами посыпанная недурной солью.

– Это Поприщин – каторжник, ждущий смерти как избавления.

В его монологе много намеков на местную тюрьму. Я уже посвящен в ее маленькие тайны, знаю, о ком из докторов идет речь, кого следует разуть под какой кличкой.

Эти намеки вызывают одобрительный смех публики, но в настоящий восторг она приходит только тогда, когда Сокольский, читающий нервно, горячо, видимо, волнуемый, начинает кричать, стуча кулаком по столу:

– Да убейте вы меня! Убейте лучше, а не мучайте! Не мучайте!

– Биц его! – не унимается образованный зритель.

И вся публика аплодирует, кажется, больше тому, что человек очень громко кричит и бьет кулаком по столу, чем его трагическим словам и тону, которым они произнесены.

Мрачное впечатление «Записок сумасшедшего» рассеивается следующей за ними сценой «Седина – в бороду, а бес – в ребро».

Это импровизация. Живая, меткая, полная юмора и правды картинка из поселенческого быта.

Поселенец с длинной, белой, льняной бородой всячески ухаживает за своей сожительницей.

– Куляша! Ты бы прилегла! Ты бы присела! Куляша, не труди ножки!

Куляша капризничает, требует то того, то другого и в конце концов выражает желание плясать вприсядку.

В угоду ей старик пускается выделять вензеля ногами.

Здесь же в публике сидящие «Куляши» хихикают:

– Какая мораль!

Поселенцы только крутят головой. Каторга отпускает крепкие словца.

Как вдруг появляется старуха, законная, добровольно приехавшая к мужу жена, и метлой гонит Куляшу.

Куляша садится старику на плечи, и старик с сожительницей за спиной удирает от законной жены.

Так кончается эта комедия... Чуть-чуть не сказал «трагедия».

Теперь предстоит самый «гвоздь» спектакля.

Пьеса «Беглый каторжник».

Пьеса, сочиненная тюрьмой, созданная каторгой. Ее любимая, боевая пьеса.

Где бы в каторжной тюрьме ни устраивался спектакль, «Беглый каторжник» на первом плане.

Она передается из тюрьмы в тюрьму, от одной смены каторжных к другой. Во всякой тюрьме есть человек, знающий ее наизусть, – с его голоса и разучивают роли артисты.

Действие первое.

Глубина сцены завешана каким-то тряпьем. Справа и слева небольшие кулисы, изображающие печь и окно.

Но публика не взыскательна и охотно принимает это за декорацию леса.

Сцена изображает каторжные работы.

Трое каторжан, изображающих толпу каторжных, копают землю.

Герой пьесы, почему-то архитектор, Василий Иванович Сунин, сидит в сторонке в глубокой задумчивости.

– Что лениво работаете, черти, дьяволы, лешие? Пора урок кончать! – слышится из кулис.

Это голос надзирателя.

Бьет звонок, и каторжные идут в тюрьму.

– Пойдем баланду хлебать! Что сидишь? – говорят они Василию Ивановичу.

– Сейчас, братцы, ступайте! Я вас догоню, – отвечает он.

Василий Иванович – его изображает тот же Сокольский, главный артист труппы, – Василий Иванович тяжело вздыхает.

– И так все впереди. Кандалы, работа, ругань, наказания!

Ничего светлого, ничего отрадного. На всю жизнь! Ведь я – вечный каторжник. Бежать? Но куда? Кругом лес, тайга! Бегу!

Лучше голодная смерть, лучше смерть от хищных зверей, чем такая жизнь! Разобью кандалы – и бегу, бегу...

Василий Иванович снимает кандалы и... и вот уж этого-то меньше всего можно было бы ожидать.

С изумлением, с испугом оглядываюсь на публику.

– Да что это?

Каторга раздражается гомерическим хохотом... Хохоцут просто над тем, как легко снять кандалы.

– Прощайте, кандалы! Вас никто больше носить не будет! Я вас разбил! – говорит Василий Иванович. – Прощай, неволя!

И уходит.

Действие второе снова должно изображать лес. Накрывшись халатом, спит каторжанин. Озираясь кругом, входит Василий Иванович.

– Убежал от погони! Гнались, стреляли! Убежал, но что будет со мной? Чем прикрою свое грешное тело, когда даже и халата у меня нет.

В это время он замечает спящего арестанта.

– Устал, бедняга, намаялся и заснул, где работал, на сырой земле... Взять, нешто, у него халат... у него, у своего же брата.

Василий Иванович становится на колени перед арестантом. Публика начинает хихикать.

– Прости меня, товарищ, что краду у тебя последнее. Спрашивать с тебя станут, мучить тебя! Своим телом, кровью своей придется расплачиваться за этот халат... Но что ж делать? Я должен позаботиться о себе. Ты бы то же самое сделал на моем месте.

Василий Иванович снимает со спящего товарища халат. В публике... гомерический хохот.

– Биц его! Биц! – в каком-то исступлении орет «образованный» зритель.

Для них это только забавно. Они хохоцут над дядей сараем,<sup>15</sup> который спит и не слышит, что у него отнимают последнее.

Для них это ловкая кража – и только.

Внешность, одна внешность, – о сущности, казалось бы, такой близкой, понятной и трогательной душе, не думает никто.

Действие третье.

Сцена должна изображать дом богатого сибирского купца Потапа Петровича.

К нему-то и является Василий Иванович.

– Примите странника! – робко останавливается он у порога.

– Милости просим, добрый человек, – необыкновенно радушно принимает его сибирский купец, – раздевайтесь, садитесь. Не хотите ли есть с дороги?

– Благодарю вас, что не погнушались принять меня! – отвечает Василий Иванович. – Я подожду, пока вы будете обедать.

– Как вам будет угодно.

Вообще, купец отличается в разговорах с Василием Ивановичем необыкновенной вежливостью.

Спрашивает, как зовут, и, только извинившись, задает вопрос:

– Куда путь держите, Василий Иванович?

– Мой путь лежит на все четыре стороны, – отвечает со вздохом беглый каторжник. – Иду жить не с людьми, со зверьми. С людьми я не ужился.

– Я вижу, вы много горя приняли, Василий Иванович?

– Не стану скрывать от вас, Потап Петрович: я беглый каторжник, кандалник, из тюрьмы бежал! – Он встает со скамьи. – Быть может, прогоните меня после этого? Сидеть погнушаюсь с бродягой? Скажите – я уйду!

– Что вы, что вы, Василий Иванович! Прошу вас и не думать об этом.

---

<sup>15</sup> Так арестанты называют простофилю, разиню.

Василий Иванович рассказывает свою историю. Как он был архитектором, как поссорился с отцом, как отец в ссоре хотел его убить.

– Тогда я взял со стены ружье и...

Василий Иванович умолкает.

– В таком случае (!), – говорит купец, – прошу вас, Василий Иванович, остаться жить в моем доме. Живите, пока понравится.

– Как мне благодарить вас? – отвечает растроганный каторжник.

В эту минуту вбегает дочь купца.

– Ах, – восклицает она в сторону, – кто этот незнакомый человек? При виде его сильно забилося мое сердце. Я полюбила его.

Адский, невероятный хохот всей публики сопровождает эту нежную тираду.

Да и нет возможности без смеха смотреть на каторжного Абрамкина, изображающего купеческую дочь, в сарафане до колен, с рукавами по локоть.

Он и сам чувствует, что это должно быть очень «чудно», и улыбается во всю ширину своей глупой, добродушной, кирпичом подрумяненной физиономии.

Любой мрачный меланхолик умер бы со смеху при виде этой нескладной, долговязой, удивительно нелепой фигуры.

Да еще с такими нежными словами на устах.

– Позвольте вам представить, Василий Иванович, мою единственную дочь, – говорит купец, – Вареньку! Наш гость – Василий Иванович.

– Папаша, обед готов, – заявляет «Варенька», раскланиваясь под неумолкающий хохот с Василием Ивановичем.

Действие четвертое.

– Бежать, бежать я должен отсюда! – говорит Василий Иванович. – Я чувствую, что здесь мои мучения становятся сильнее. Я полюбил Вареньку... Я, ссыльнокаторжный, бродяга, которого каждую минуту могут поймать, заключить в тюрьму, отдать палачу на истязание. О, какое мучение!

Он берет катомку.

– Куда вы, Василий Иванович? – спрашивает его вошедшая Варенька.

– Прощайте, Варвара Потаповна, – кланяется он, – я ухожу от вас. Пойду искать... не счастья, нет! Счастье мне не суждено! Смерти пойду я искать...

– Зачем вы говорите так? – перебивает его Варенька. – Вы много видели горя? Вы никогда мне не говорили, кто вы, откуда к нам пришли. И папенька мне запретил спрашивать вас об этом. Почему?

– Это я никому не могу сказать!

– Никому? Даже вашей жене?

– Зачем вы сказали такое слово? – отирая слезу, говорит Василий Иванович. – Вы смеетесь над бедняком.

– Нет, нет! Я сказала это неспроста, не для смеха. Я люблю вас, Василий Иванович, я полюбила вас с первого взгляда. Мне вы можете сказать, кто вы такой.

– Так слушайте же! – с отчаянием произносит Василий Иванович. – Перед вами – тяжкий преступник, отцеубийца! Бегите от меня: я каторжник, я кандальник! Я... я... убил родного отца!

– Ах! – вскрикивает Варенька и, под хохот публики, падает в обморок.

– Я убил и ее! – ломая руки, говорит беглый каторжник.

– Нет, я жива! – очнувшись, отвечает она. – Прошу вас, не уходите, подождите здесь одну минуту!

Вы, конечно, догадываетесь о конце.

– Моя дочь сказала мне все! Она любит вас и согласна быть вашей женой! – говорит вошедший отец. – Василий Иванович, прошу вас быть ее мужем!

– И для несчастного суждена новая жизнь! – этими словами Василия Ивановича под аплодисменты публики заканчивается пьеса.

Эта излюбленная пьеса каторги, ее детище, ее греза.

Пьеса, в которой сказались все мечты, все надежды, которыми живет каторга.

В ней все нравится каторге.

И удачное бегство, и то, что беглый каторжник находит себе счастье, и то, что «порядочные люди» говорят с ним вежливо – на «вы», как с человеком, и то, что есть на свете люди, которых не отталкивает от падшего даже совершенное им тягчайшее преступление.

Люди, которые видят в преступлении – несчастье, в преступнике – человека.

После этой пьесы, где нет ничего бутафорского, где все настоящее: каторжные, кандалы, халаты, – мы, конечно, не станем смотреть «разбивания камня на груди» и прочих прелестей программы.

Пройдем за кулисы.

## Каторжные артисты

Огарок, прилепленный к скамье, освещает самую оригинальную «уборную» в мире.

Торопясь к перекличке, артисты переодеваются в арестантские халаты.

Те, которые играли кандальников в «Беглом каторжнике», покуривают сигарку, переходящую из рук в руки, и ожидают платы от антрепренера.

Им переодеваться нечего: их «костюмы», их кандалы не снимаются.

Кулисы всюду и везде – те же кулисы. То же артистическое самолюбие.

– Благодарю вас! – крепко жмет мою руку Сокольский, когда я расхваливаю его чтение «Записок сумасшедшего», – вы меня обрадовали. Все-таки хоть и такой театр, но все же это что-то человеческое... А я, признаться, сильно трусил: играть перед литератором, перед понимающим человеком... Так ничего себе?

– Да уверяю вас, что очень хорошо! Вы никогда не были актером, Сокольский?

– Актером – нет. Но любительствовал много. В Секретаревке, в Немчиновке (любительские театры в Москве). Ведь я из Москвы. Вы тоже москвич? Ах, Москва! Малый театр! Ермолова, Марья Николаевна! Бывало, лупишь из «Скворцов» (студенческие номера) в Малый театр на верхотурье. А помните, Парадиз привозил Барная, Поссарта. Я и теперь его в Ричарде словно перед глазами вижу. Монолог этот после встречи с Елизаветой... «На тень свою мне надо наглядеться!»

– Сокольский, черт! На перекличку иди! Опять завтра в кандальную посадят! – высунулась из-за занавески физиономия антрепренера.

– Сейчас... сейчас... Вы меня извините. К перекличке надо. Вот если бы вы позволили... Да уж не знаю... Нет, нет, вы меня извините!..

– Что? Зайти ко мне?..

– Д-да...

– Сокольский, как вам не стыдно?

– Ну, хорошо, хорошо. Благодарю вас. Так завтра, если позволите...

– Да иди же, дьявол, опять будешь в кандальной – из-за тебя представление отменят!

– Иду... иду... Значит, до завтра! Сокольский побежал на перекличку в тюрьму.

– А вы отлично поете куплеты! – обращаюсь я к Федорову. Федоров сияет.

– При театре, знаете, поднаторел... А вы к нам из Одессы изволили, говорят, приехать.

Кто теперь там играет?

– Труппа Соловцова.<sup>16</sup>

– Николая Николаевича? Ну как он?

– А вы и его знаете?

– Его-то? Еще с Корша помню. У Корша я парикмахером был. Да кого я не знаю! Марью Михайловну (Глебову) сколько раз завивал. Рощин-Инсаров – хороший артист. Я ведь его еще когда помню. Отлично Неклюжева играет. Киселевский Иван Платоныч – строгий господин: парик не так завьешь – беда!

Федоров смеется при одном воспоминании, – и у него вырывается глубокий вздох.

– Хоть бы одним глазком посмотреть на господина Киселевского в «Старом барине!»  
Эх!

– Абрашкин, чего на перекличку не идешь?

Но Абрашкин артист на роли *ingenue dramatique*, стоит, переминается с ноги на ногу, дожидается тоже комплимента.

– А здорово, брат, это ты представляешь! – обращаюсь я к нему.

---

<sup>16</sup> Это было в 1897 году.

Глупая физиономия Абрашкина расплывается в блаженной улыбке.

– Я, ваше высокоблагородие, на руках еще могу ходить, – место только не позволяет!

– Комедиянт, дьявол! – хохочут каторжане. Абрашкин со счастливой рожей машет рукой.

– Так точно! А ведь этот добродушный человек резал.

## Бродяга Сокольский

– К вам Сокольский. Говорит, что приказали прийти! – доложила мне рано утром квартирная хозяйка.

– Где же он?

– Велела на кухне подождать.

– Да просите, просите!

Если бы улыбка не была в этом случае преступлением, трудно было бы удержаться от улыбки при взгляде на «штатский костюм», в который облачился для визита ко мне Сокольский.

Рыжий, весь рваный пиджак, дырявые штиблеты, необыкновенно узкие и короткие штаны, обтягивавшие его ноги как трико, – совсем костюм Аркашки.

– А я к вам в штатском, чтоб не смущать вас арестантским халатом, – сказал он.

– Да будет вам, Сокольский, о таких пустяках. Садитесь, будем пить чай.

Сначала разговор вязался плохо. Сокольский сидел на кончике стула, конфузливо вынимал из кармана белую тряпку, которую достал вместо платка.

Но мало-помалу беседа оживилась. Оба москвичи, мы вспомнили Москву, театр, приезжих знаменитостей.

Оба забыли, где мы.

Он оказался горячим поклонником Поссарта, я – Барная. Мы спорили, кипятились, говорили горячо, громко, так что хозяйка несколько раз с недоумением, даже с испугом заглядывала в дверь. Чего, мол, это они? Не наделал бы он приезжему господину дерзостей?

Я продиктовал Сокольскому «Записки сумасшедшего», которые знал наизусть. Записывая их, Сокольский от души хохотал над бессмертными выражениями Поприщина.

Разговор перешел на литературу. Сокольский особенно любит, знает и понимает Достоевского. Помнит целые страницы из «Мертвого дома» наизусть.

– Ведь я сам хотел написать «Записки с мертвого острова». Конечно, это был бы не «Мертвый дом». Куда до солнца!

Но все-таки хотелось дать понять, что такое теперешняя каторга. Думал, – сам погиб, но пусть хоть как-нибудь пользу принесу. Многие из интеллигентных этим увлекаются. Да потом... бросают. Здесь все бросают... У всех почти начало есть... если только на цыгарки кто не искурил! Вот и у меня. Уцелело. Нарочно вам принес. Возьмете – рад буду.

Мы заговорили о разнице между «Мертвым домом» и теперешней каторгой.

Сокольский говорил горячо, страстно, увлекаясь, как человек, которому на своих плечах пришлось вынести все это.

– Даже не «Мертвый дом»! – говорил он, вскочив со стула и энергично жестикулируя. – Даже не он! Там даже что-то было. Вспомните этот ужас, это отвращение к палачу. А здесь даже и этого нет... А эти дивные строки Федора Михайловича...

В эту минуту дверь отворилась, и явившийся ко мне с визитом смотритель поселений на полуфразе перебил Сокольского.

– Сбегай-ка, братец, на конюшню. Вели, чтоб мне тройку прислали!

– Слушаю, ваше высокоблагородие! – выкрикнул Сокольский и со всех ног бросился из комнаты.

Я схватился за голову.

– Зачем вы это?

Смотритель глядел на меня во все глаза.

– Что зачем?

– Да разве нельзя было кого другого послать?.. Хоть бы из уважения ко мне...

Он расхохотался.

– Да вы что это? Гуманничать с ними думаете? С мерзавцами? Да поверьте вы мне: мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы – и больше ничего! Что ему сделается?

С Сокольским мы потом виделись часто. Он деятельно, охотно мне помогал знакомиться с каторгой, собирать песни, составлять словарь арестантских выражений.

Но каждый раз, как я заговаривал о чем-нибудь, кроме каторги, он весь как-то съеживался и бормотал:

– Нет, нет. Не надо об этом... Ни о чем не надо... Вы уедете, а мне еще тяжелей будет... Не надо!..

Одну странность я заметил в Сокольском.

Он словно чего-то недоговаривал... Придет, посидит, повернется на стуле, поговорит о каких-то пустяках и уйдет... Словно давится он чем-то, что никак не может сойти у него с языка.

Старался навести его на этот разговор.

– Сокольский, вы, кажется, мне что-то хотите сказать? Пожалуйста, откровенно...

– Нет, нет... Ничего, ничего... Право, ничего... До свиданья, до свиданья!

Становилось тягостно.

– Сокольский, – как-то не без страха начал я, – я скоро уезжаю из Корсаковска. Вы мне много помогли в моей работе... Я за это ведь получаю гонорар и считаю своим долгом...

На лице Сокольского отразилось страдание. Во взгляде, который он кинул на меня, было много злобы.

– К вам идет кто-то... идет...

Его чуть не на половину откушенный язык заплетался и шепелявил еще больше:

– Ишдет... Ишдет...

И Сокольский выбежал из комнаты.

– Да Боже мой! Что ж это все за муки?! – должно быть, вслух крикнул я, потому что хозяйка отворила двери и спросила:

– Чаю прикажете?! Звали?

Через несколько времени встречаю моего знакомого, «адвоката за каторгу», «дурачка» Шапошникова.<sup>17</sup>

– Слушайте, Шапошников. Вы приятель Сокольского. Он что-то имеет ко мне, да все...

Шапошников пристально посмотрел мне в глаза и захохотал.

– Подстрелить вас хочет, ваше высокоблагородие, да все не решается!

– Как подстрелить? Какой вздор говорите!

– Как подстреливают? Денег попросить, семь целковых. Татары насели. Он тут майданику, да и другим, за водку и за разное семь рублей должен. Узнали, что он к вашему высокоблагородию ходит, и насели: «Проси да проси у барина». Избить до полусмерти обещают. А он давится, шельма! Ха-ха-ха!.. Давеча от вас в тюрьму как угорелый прибеж. «Догадался!» – кричит. Ха-ха-ха!.. В каторге да такие нежности!

– Да нате, нате вам, Шапошников, пойдите, сейчас же отдайте... Не говорите ему про наш разговор... Скажите, что я вам дал, лично вам... Сделайте там как хотите...

Во взгляде Шапошникова на одно мгновение сверкнула какая-то жалость, но он сейчас же прищурил глаза и посмотрел на меня с иронией.

– Вы кого резали?

– Кто? Я?

– Вы?

– Я никого не резал.

---

<sup>17</sup> См. очерк «Два полюса».

– Никого? Так за что вас на Сахалин послали?

И Шапошников снова расхохотался своим странным смехом, от которого у непривычного человека мурашки по телу пробегают.

## Преступление в Корсаковском округе

– Мы в тайгу иначе не ходим, как с ножом за голенищем! – говорили мне сами каторжные.

Вот вам то, что лучше всяких статистических цифр говорит об имущественной и личной безопасности на Сахалине.

Когда разгружаются пароходы, каторжных на борт ни за что не пускают.

– Все уволочут, что попадется!

У моей квартирной хозяйки поселенцы успели стащить в кухне со стола деньги, едва она отвернулась.

Несмотря на то, что у меня сидел в это время их начальник, смотритель поселений.

– Ваше высокоблагородие, простите их! – молила квартирная хозяйка, когда виновные нашлись. – Простите, а то они меня подожгут.

К ее просьбе присоединился и я.

– Да бросьте вы их! Ведь действительно сожгут дом, по миру пойдет баба.

Смотритель поселений долго настаивал на необходимости наказания.

– Невозможно! Под носом у меня смеют воровать. До чего ж это дойдет?

Но потом энергично плюнул и махнул рукой.

– А, ну их к дьяволу! Ведь действительно с голоду все!

Кражи, грабежи, воровство сильно развиты в округе.

Незадолго до моего приезда тут произошло четыре убийства.

Один поселенец, похороны которого я описывал, хороший, работающий, «смирный» парень, зарезал из ревности свою сожительницу и отравился сам.

Женщина свободного состояния отравила своего мужа, крестьянина из ссыльных, за то, что он не хотел ехать на материк, куда ехал ее «милый» из ссыльнопоселенцев.

Один поселенец зарезал сожительницу и надзирателя.<sup>18</sup>

Наконец, об этом упоминалось в разговоре с Резцовым, убит был зажиточный писарь из ссыльнокаторжных.

Сожительница, которая и «подвела» убийц, не сознается, но, когда я беседовал с ней один на один в карцере, где она содержится, она озлобленно ответила:

– А чего ж на них смотреть-то, на чертей? Не законный, чай! Поживет, кончит срок, да и поминай его как звали! Куда наша сестра под старость лет без гроша денется!..

И, помолчав, добавила:

– Не убивала я. А ежели б и убила, не каялась бы. Всякий о себе тоже должен подумать!

Вот вам сахалинские нравы.

---

<sup>18</sup> С несчастным «героем» этого преступления мы уже встречались в кандалной тюрьме.

## Отъезд

Пароход готов к отплытию.

По Корсаковской пристани, заваленной мешками с мукой, движется печальная процессия.

На носилках, в самодельных неуклюжих креслах, несут тяжких хирургических больных, отправляемых для операции в Александровск.

Страдальческие лица... А впереди еще путешествие по бурному Татарскому проливу...

Тут же, на пристани, разыгрывается трагедия-комедия... трагикомедия...

Агафья Золотых уезжает с Сахалина на родину и прощается со своим сожителем, ссыльнопоселенцем из немцев.

Агафья Золотых – это ее бродяжеское, не настоящее имя – попала на Сахалин добровольно.

Ее друг сердца был сослан в каторгу за подделку монеты.

Чтобы последовать за ним на каторгу, она назвалась бродягой.

Ее судили как не помнящую родства, сослали на Сахалин, – здесь ее ждало новое горе.

Тот, ради кого она пошла на каторгу, умер.

Агафья Золотых открыла свое «родословие» и просила возвратить ее на родину.

А пока «ходили бумаги» – ведь есть-то что-нибудь надо!

Агафье пришлось сойтись с поселенцем, пойти в сожительницы.

Понемногу она привыкла к сожителю, полюбила его, как вдруг приходит решение возвратить Агафью Золотых на родину, в Россию.

– Прощай, Карлушка! – говорит, глотая слезы, Агафья. – Не поминай лихом. Добром, может, не за что!

– Прощайте, Агашка! – отвечает немец, молодой парень.

Катер отчаливает, через полчаса приходит обратно, и на пристань выходит... Агафья Золотых.

На пароходе появление Агафьи Золотых произвело целую сенсацию.

– Как, Агафья Золотых? Какая Агафья Золотых? Да ведь мы в прошлом году еще увезли Агафью Золотых? Отлично помним! Из-за нее даже переписка была. Как только пришли в Одессу, Агафья Золотых, не ожидая, пока за ней явится полиция, сбежала с парохода!

Оказывается, что Агафья Золотых, не желая уезжать от человека, которого она успела полюбить, «сменялась именами» – и под ее именем уехала и гуляет себе по Руси какая-то ссыльнокаторжная.<sup>19</sup>

Теперь Агафью Золотых решительно отказываются принять на пароход.

– Да ведь это настоящая Агафья Золотых! Ее все здесь знают! То была какая-то ошибка! – говорит тюремная администрация.

– А нам какое дело! Станем мы по два раза одну и ту же Агафью Золотых возить!

Агафью возвращают на берег.

– Ну, Карлушка, видно, судьба уж нам вместе жить, – говорит Агафья. – Идем домой!

– Зачем же я с вами пойду, Агашка? – рассудительно отвечает немец. – Я буду брать себе другую бабу, Агашка!

В ожидании отъезда сожительницы немец успел присмотреть себе другую, условился, договорился. Агафья качает головой.

– Был ты, Карлушка, подлец, – подлецом и остался. Тьфу!

---

<sup>19</sup> Вот вам доказательство, что, несмотря на фотографические карточки, «смены» бывают и до сих пор.

– Агафья! Агафья! Куда ты? Стой! – кричит ей кто-то из «интеллигенции». – Садись в катер! Я попрошу капитана, может, и возьмет!

Агафья поворачивается на минутку.

– А идите вы все к черту, к дьяволу, к лешему! – со злобой, с остервенением говорит она и идет.

Куда?

– А черт ее знает, куда! – как говорят в таких случаях на Сахалине.

Еще раз – в третий раз уже жизнь разбита... Пора, однако, на пароход.

– Все готово! – говорит... персидский принц.

Настоящий принц, которому письма с родины адресуются не иначе, как «его светлости».

Он осужден вместе с братом за убийство третьего брата.

Отбыл каторгу и теперь что-то вроде надзирателя над ссыльными.

Он распоряжается на пристани, очень строг и говорит с каторжными тоном человека, который привык приказывать.

– Алексеев, подавай катер! Пожалуйста, барин! – помогает бывший принц сойти с пристани.

Последняя баржа, принимающая остатки груза, готова отойти от парохода.

– Так, не забижают, говорили, надзиратели-то? – кричит с борта один из наших арестантов – из тех, которых мы везем.

– Куды им! – хвастливо отвечает с баржи старый, «здешний» каторжанин.

Баржа отплывает.

Гремят якорные цепи. С мостика слышны звонки телеграфа. Раздается команда.

– Право руля!

– Право руля! – как эхо, вторит рулевой.

– Так держать!

– Так держать!

«Ярославль» дает три прощальных свистка и медленно отплывает от берегов.

Прощай, Корсаковск, такой чистенький, веселый, «не похожий на каторгу» с первого взгляда, так много горя, страданий и грязи таящий внутри.

«Ярославль» прибавляет ходу.

Берега тонут в туманной дали.

А впереди «настоящая каторга», Александровск, где содержатся все наиболее тяжкие, долгосрочные преступники, Рыковск, Онор, тайга, тундра, рудники...

– Корсаковск – это еще что! Рай! – говорит один из едущих с нами сахалинских служащих. – Разве Корсаковск каторга? Это ли Сахалин?

Все, что я вам рассказал, это только прелюдия к «настоящей» каторге.

## Настоящая каторга

Мы с вами на пароходе «Ярославль» у пристани Александровского поста, «столицы» острова, где находится самая большая тюрьма, где сосредоточена «самая головка каторги».

Сюда два раза в год пристаёт «Ярославль» «с урожаем порока и преступления». Здесь этот «урожай» выгружается, здесь уже все вновь прибывшие арестанты распределяются и отсюда рассылаются по разным округам.

Сирена пронзительно орет, – словно пароход режут, – чтобы поживее распорядились на берегу.

Холодно дует пронзительный ветер и разводит волнение.

Крупная зыбь колышет стоящие у борта баржи. Пыхтит буксирующий их маленький катерок тюремного ведомства.

Тоскливо на душе. Перед глазами унылый, глинистый берег. Снег кое-где белеет по горам, покрытым, словно щетиной, колючей тайгой.

– Это вчера навалило, снег-то, – поясняет кто-то из служащих, приехавший на пароход за арестантами. – Совсем было сходить стал, да вчера опять вьюга началась.

Сегодня как будто потеплее. Завтра опять выются в воздухе белые мухи. Туманы. Пронизывающие ветры. И так – до начала июня. Это здесь называется «весна».

Направо хлещут и пенятся буруны около Трёх Братьев, – трех скал, рядом возвышающихся над водой. В море выдалась огромная темная масса мыса Жонкьер, с маяком на вершине. В темной громаде, словно отверстие от пули, чернеет вход в тоннель. Бог его знает, зачем и кому понадобился этот тоннель. Зачем понадобилось сверлить эту огромную гору.

– Для чего он сделан?

– А чтоб соединить пост Александровский с Дуэ.

– Что ж, ездит кто этим тоннелем?

– Нет. Ездят другой дорогой – вон там, горами. А нужно везти что – возят на баржах, буксируют катерами. Да по нем и не проедешь, по тоннелю. Он в извилинах.

Тоннель вели под руководством какого-то господина, который, вероятно, никогда и в глаза не видал никакого тоннеля. Господин, по сахалинскому обычаю, ровно ничего не понимал в том деле, за которое взялся. Как и всегда, тоннель повели сразу с обоих концов, с таким расчетом, чтобы партии работающих встретились. Но люди все дальше и дальше закапывались в гору, а встречаться не встречались. Было ясно, что работающие партии разошлись. К счастью, среди ссыльнокаторжных нашелся человек, понимающий дело, бывший сапер Ландсберг, фамилия которого в свое время прогремела на всю Россию и до сих пор еще не забыта. Ему и отдали под команду рабочих. Ценою невероятных трудов и усилий рабочих удалось поправить ошибку. Провели коридор в бок, и соединили две разошедшиеся в разные стороны половины тоннеля.

Вернемся, однако, к «разгрузке».

Арестантов первого отделения вывели на палубу. Присматриваются к унылым берегам. Сахалин, видимо, производит тяжелое впечатление. Вид оторопелый, растерянный.

Им сделали перекличку по фамилиям.

– Ну, теперь садись, ребята, – скомандовал офицер. То есть «садись на баржу».

Арестанты, словно по команде, поджали ноги и... сели на палубе.

Можно же до такой степени оробеть и смешаться.

По трапу один за другим, с мешками за плечами, спускаются в баржу каторжане. Баржу качает, арестанты в ней, ослабевшие на ноги благодаря долгому отсутствию моциона не могут стоять и валятся друг на друга. Одна баржа наполнена, подводят другую – нагружают. И катерок, пыхтя и сопя, тащит качающиеся и бултыхающиеся баржи к пристани, далеко

выдавшейся в море. А к пароходу уж ползет по волнам другой катерок с двумя с боку на бок переваливающимися посудинами. Разгрузка идет быстро, – и наступает самый тяжелый момент. Из лазарета движется удручающего вида процессия. На самодельных неудобных креслах, на неуклюжих носилках несут больных. Доктора с озабоченными лицами хлопочут около процессии. На их лицах так и читается укор.

И это перевозочные средства для больных.

Какие измученные, какие страдальческие лица у несчастных. Одно из них словно и сейчас смотрит на меня. Обвязанная голова. Заострившиеся черты, словно у покойника, с застывшим выражением страдания и муки. Восковое лицо. Провалившиеся глаза, в которых еле-еле светится жизнь, словно погасающий огонек догорающего огарка. С губ его, белых и тонких, срывается чуть слышный стон, скорее жалобный вздох.

По крутому, почти отвесному трапу, бережно, под наблюдением врачей, но, конечно, все же не без страданий для больных, их сносят в кувыркающуюся на волнах баржу.

Разгрузка кончена. Жалкий тюремный катерок доставляет нас на пристань.

Чувствуется, что вы приближаетесь к административному центру. Александровская пристань – это вполне благоустроенная пристань. Сигнальная мачта. Хорошенький домик, с канцелярией и командой для ожидающих катера господ чиновников. Несколько времени тому назад эту пристань разбило было вдребезги. Но горю помог все тот же истинный благодетель Сахалина по технической части, бывший ссыльнокаторжный господин Ландсберг. Он перестроил пристань уже «как следует». На Сахалине вечно так: сначала сделают кое-как, а потом переделают «по-настоящему». Да и отчего бы и не делать таких опытов: рабочих рук много, и притом даровых.

По деревянному молу мы идем на берег.

На моле кипит работа. Каторжане из вольной тюрьмы таскают кули, мешки и ящики. Раньше нас пришел какой-то другой пароход и привез товары из Владивостока. Грузополучатели сидят тут же на своих ящиках и зорко поглядывают.

– Не стащили бы чего.

Нищая тюрьма тащит что может.

– Надзиратель, надзиратель, – раздается пронзительный крик, словно человеку к горлу нож уж приставили, – надзиратель, чего ж ты не смотришь, куда он куль-то прет, оглашенный. Какой же ты надзиратель, ежели воруют, а ты не смотришь. Я смотрителю буду жалиться.

– Ты куда это куль прешь, такой-разэтакий?

– Черт же его, проклятого, знал, что это его. Я думал, туды его ташшить надобно. Возьми куль, оглашенный. Ишь, прорвы на тебя нет, орет, анафема.

– Жулье.

– Положь мешок, положь мешок, говорят тебе, – слышится в другой стороне.

Среди этой суевающейся толпы, не замечая никого, медленно движется странная фигура.

Свита из серого арестантского сукна до пят, похожа на подрясник. Он простоволос. Ветер треплет его белокурые волосы. Серо-голубые светлые глаза устремлены на небо. На лице застыло выражение какого-то благоговейного восторга. Словно он Бога видит там, в далеких небесах. В одной руке у него верба, другая сложена как для благословения. Он весь унесся отсюда душой, не слышит ничего кругом, идет прямо, как будто кругом пусто и нет никого: его толкают, он не замечает.

– У-у, анафема. Пропаду на тебя нет.

Это несчастный сумасшедший Казанцев, у него *mania religiosa*. И зиму и лето он ходит вот так, с непокрытой головой, в длинной свите, похожей на подрясник, с высоко поднятой благословляющей рукой. Его нищие родные, пришедшие за ним на Сахалин, сделали себе источник дохода из «блаженненького», ходят за ним и выпрашивают милостыню на

«Божьего человека». В его лице, в его фигуре, в поднятой для благословения руке, в его походке, торжественной и мерной, словно он шествует к какой-то великой, важной цели, есть что-то трогательное, если хотите, даже величественное. Контраст между этим человеком, унесшимся больной душой далеко от этого мира, и кипящей кругом суетой нищих и несчастных, – контраст очень сильный.

У конца мола противный лязг железа. Здесь работают, под конвоем часовых с ружьями, кандалные.

– Развязывай штаны, – кричит солдат, стоя перед высоким, мрачного вида, бородатым мужиком, – сейчас развязывай штаны, говорят тебе.

– А сам и развязывай, ежели тебе есть охота, – спокойно и равнодушно отвечает кандалный. – Да ты не дерись! – кричит он, когда солдат исподтишка дает ему прикладом. – Ты чего дерешься, чувырло братское? Можно и тебе бока-то помять, косопузый.

– Пришить вас всех тут мало, всех, сколько есть, дьяволов! Хлеб только казенный жрете, пропасти на вас нет, проклятых, – ругается солдат, весь покрасневший со злости, и принимается развязывать каторжанину исподнее белье.

– Так-то лучше. Давно бы так, – по-прежнему спокойно говорит каторжанин.

Этот тон, спокойный и равнодушный, по-видимому, особенно злит, раздражает, волнует, мучит и бесит солдата.

– Молчи лучше. Молчи, пока не пришиб.

– Много вас здесь, пришибал-то, найдется.

– Молчи! – кричит солдат, уже весь багровый и от злости, и от усилий развязать панталоны одной рукой: из другой нельзя выпустить ружье. – Молчи.

– Да ты не дерись! – кричит опять каторжанин, которому снова влетело в бок ружьем.

У входа на мол стоят дрожки, тарантасы с каторжными кучерами на козлах. На весь Александровский пост имеется только один извозчик, из поселенцев, да и тот не занимается этим делом постоянно – не стоит: за делом ли, за бездельем все всегда ездят на казенных. Зато и достается же лошадям на Сахалине. Вот для кого здесь поистине каторжная работа. Целый день в Александровске по главной улице только и слышишь, что звон колокольцев, только и видишь, что бешено мчащиеся тройки «под господ служащих».

«Вот, – думаешь себе, – какая, должно быть, деятельность кипит на этом острове».

Если бы спросить у лошадей, они бы ответили, что господа служащие – народ очень деятельный.

Что это, однако, за странная группа, словно группа переселенцев, расположилась у стены казенного сарая. Старики, молодые, женщины, дети сидят на сундуках, на укладках, с подушками в руках, с образами, с жидким, скудным и жалким скарбом. Это беглецы с Сахалина. Новые «крестьяне из ссыльных», люди, окончившие срок каторги и поселенчества, получившие «крестьянство», а вместе с ним и право выезда на материк. Заветная мечта каждого невольного (да и вольного) жителя Сахалина. Распродав, а то и прямо бросив свои домишки, они стянулись сюда из ближайших и дальних поселений. Желанный, давно жданный, грезившийся во сне и наяву день настал. Свищет ветер, летают и кружатся в воздухе белые мухи, а они сидят здесь, дрожащие, посинелые от холода, не зная, когда их будут сажать на пароход. А сажать будут дня через три, не раньше. Никто не позаботился их предупредить об этом, никто не позаботился сказать, когда именно нужно явиться. И они будут мерзнуть на ветру, на холоде, плохо одетые, с маленькими детьми, боясь пропустить посадку и остаться здесь, на проклятом острове.

– Милай, – ноет баба, – пусти хошь куды. Мне бы ребенка покормить только. Махонький ребенок-то, грудной. Замрет не емши.

– Здесь и корми. Куда ж тебя еще.

– Холодно, милай; на этаком-то холоду нешто можно грудью кормить.

Таков «желанный день». Подойдем к этой полузамерзшей группе.

– Давно сидите?

– С авчирашнего дня. Авчирашнего еще числа парохода ждали. Дрогнем, и от вещей отлучиться нельзя: народ шпанка, сейчас свистнет.

– А куда ж теперь, на материк?

– Так точно, на материк, ваше высокоблагородие.

– Ну, а что ж делать будете там, на материке?

– Да уж там, что Бог даст. Что Владисток (Владивосток) окажет.

– Да ведь на материке-то теперь, во Владивостоке, и своему-то народу делать нечего.

– Все-таки, думается, там лучше. Все не Сакалин... Как Бог.

– Ну, а деньги у тебя на дорогу есть?

– Вот три рубля есть.

– Да ведь билет стоит не три рубля, а дороже.

– Может, капитан смилуется, трешницу возьмет.

– Да не может капитан, у капитана – тариф.

– Что ж, сдыхать здесь, что ли? Сдыхать на этом острове проклятом? Сдыхать?

– Подайте, Христа ради, на билет, – слышится то там, то здесь.

Нищие у нищих просят милостыни.

В сторонке, отдельно от других, сидит старик на маленькой укладочке и плачет. Всхлипывает как ребенок, и слезы ручьем текут по его посиневшему, восточного типа лицу.

– Что с тобой, старик?

– Дэнга, бачка, домой на родына ехать нэт.

Двадцать три года ждал он этого дня. Двадцать три долгих года. Двадцать три года сахалинской каторги.

Его фамилия Акоп-Гудович. Двадцать пять лет тому назад этот маленький, несчастный, плачущий как ребенок старик, тогда, вероятно, лихой горец, участвовал в похищении какой-то девицы, отстреливался, вероятно метко, и попал на каторгу. Двадцать три года мечтал он об этом дне и копил денег на отъезд. Накопил тридцать рублей, явился, и ему говорят:

– Куда ты. Нужно сто шестьдесят пять рублей.

– Братья у меня в Эриванской губернии, жена осталась, дети теперь уже большие. Умирать хотым на родной сторона, – горько рыдает старик.

И сколько таких, как он, отбывших каторгу, поселенье, мечтавших о возврате на родину, дождавшихся желанного дня, пришедших сюда и получивших ответ:

– Сначала припаси денег на билет, а потом и возвращайся на родину.

И сидят они десятками лет на Сахалине, тоскуя о близких и милых, – они, искупившие уже свою вину и несущие все-таки тяжкую душевную каторгу.

Мимо нас проходит толпа каторжан. Это наши, с «Ярославля». Они поворачивают налево по берегу, к большому одноэтажному зданию «карантина». На дворе карантина уже кишит серая толпа арестантов. А к пристани подходит еще последняя баржа, нагруженная арестантами, которые издали кажутся какой-то серой массой.

## Столица Сахалина

### I

Так зовут пост Александровский.

– Не правда ли, – услышите вы со всех сторон от господ служащих, – в Александровске ничто не напоминает каторги!

Я не знаю другого места, где все до такой степени напоминало бы о каторге.

Нигде звон кандалов не слышится так часто.

Широкие немощеные улицы, маленькие деревянные дома – все переносит в глухой провинциальный городок. Вы готовы забыть, что вы на каторге. Но раздается лязг кандалов, и из-за угла выходит партия кандальников, окруженная конвоем. И это на каждом шагу.

Нигде истинно каторжные условия сахалинской жизни не напоминают о себе так на каждом шагу. Нигде истинно каторжная нищета, каторжное бездомовье не бросаются так ярко в глаза. На каждом шагу – фигура поселенца, которая медленно, подобострастно, заискивающе, приниженно приближается к вам, снимая картуз еще за двадцать и тридцать шагов.

Словно призрак нищеты.

Типичная фигура сахалинского поселенца. Одежда, перешитая из арестантского бушлата. Что-то такое растрепанное на ногах, не похожее ни на сапоги, ни на коты, ни на что. Тоска на лице.

Сахалинский поселенец всегда начинает свою речь словами «так что» и всегда обязательно ведет ее «издали».

– Так что, как мы, ваше выскоблагородие, теперича на Сахалине неизвестно за что...

– Ну, говори толком, что нужно.

– Так что, как теперича безо всякой вины...

– Да говори же, наконец, что тебе нужно.

– Так что, третий день не емши... Не будет ли вашей начальнической милости...

– На. Получай – и проваливай.

А с другой стороны улицы к вам подбирается другая такая же фигура, такая же серая, такая же тоскливая.

Серые призраки сахалинской тоски.

И так же начинает нараспев, тягуче, тоскливо «песнь сахалинской нищеты»:

– Так что, как мы...

А впереди десятки, сотни этих серых призраков поют ту же тоскливую песнь.

Порой среди них вы встретите особенно безнадежно-скорбное лицо.

Это сосланные за холерные беспорядки.

От каторги они все освобождены, перечислены в поселенцы, хозяйства не заводят.

– Не к чему. Скоро выйдет, чтобы всех нас, стало быть, на родину, в Россию вернуть.

И слоняются без дела на посту, куда пришли узнать, нет ли «манифесту, чтоб домой ехать». День идет за днем, и все тоскливее, безнадежнее делаются лица ожидающих возврата на родину.

Уверенность в том, что их вернут, у этих несчастных так же сильна, как и уверенность в том, что их прислали сюда «безвинно».

– За что прислан?

– Так, глупости вышли... Доктора холеру выдумали. Известью стали народ присыпать, живьем хоронить. Ну, мы это, стало быть, не давать. Глупости и вышли. Доктора, стало, убили.

- За что же убивали?
- Так. Спужались сильно.
- Да ты видел, как живых хоронили?
- Не. Я не видал. Народ видел.

Вот один из зачинщиков страшных юзовских беспорядков. Высокий, рослый мужик. Он был, должно быть, страшен в эти грозные дни, когда, обезумев от ужаса, ходил по базару с камнем и кричал:

- Бей докторов!

И грозил разбить камнем голову каждому, кто сейчас же не приступит к этой страшной бойне, не пойдет с базара «на докторов».

Теперь у него истомленный долгим, бесплодным скитанием вид. Все ходит по посту, подавая во все учреждения, всем начальствующим лицам самые нелепые прошения. Он подает их всем: тюремному смотрителю, горному инженеру, землемеру и докторам. Он так и ходит с бумагой в руках, – и стоит ему увидеть на улице какого-нибудь вольного человека, он сейчас же подаст ему бумагу.

- Явите начальническую милость...
- Да насчет чего?
- Насчет освобождения...
- Я-то тут при чем! Я, милый, ничего не могу сделать.
- Господи! Да кто же вступится за правду, за истину?

В глазах его блещет отчаяние. Он во всем отчаялся, во все потерял веру – в правду, в справедливость. И только в одном уверен глубоко, всем сердцем, всей душой, – в том, что, призывая убивать докторов, он пострадал «безвинно». И в этом вы его не разубедите.

- Как же так? Как не доктора холеру выдумали? Дозвольте вам объяснить...

И он принимается рассказывать про известь, которой «присыпали народ», и про тех заживо похороненных, которых он не видал, но зато «народ видел».

Вот еще интересный сахалинский тип.

Держится молодцом. Одет щеголевато. Лицо жульническое. Выражение на лице: «готовый к услугам».

Черный «спинжак». Штаны заправлены в высокие крепкие сапоги. На шее – красный шарф. Выправка бывшего солдата.

Сослан за вооруженное сопротивление полиции. Был в Москве в каком-то трактире – притом с отдельными кабинетами – приказчиком. Что там делалось, в этих «отдельных кабинетах», – Господь его знает. Но когда неожиданно ночью явилась полиция, он пошел на все, чтобы не допустить полиции до «кабинетов». Запер дверь, стрелял, когда ее выломали, из револьвера.

Теперь отбыл каторгу и числится поселенцем. Целые дни вы его видите только на улице, ничего не делающим. На вопрос, чем занимается, говорит:

- Так... Торгую...

Когда мне нужно познакомиться поближе с кем-нибудь из наиболее темных личностей, он для меня неоцененная протекция.

Как он прикомандировался ко мне, я даже и объяснить не могу. Не успел я ступить на пристань – он вырос передо мною, словно из-под земли, с своим вечным выражением: «готовый к услугам»...

Не успеваю я сказать, что мне нужно, он летит со всех ног.

Лошадь нужно – ведет лошадь. Квартиру отыскать – пожалуйста, несколько квартир. На лице готовность оказать еще тысячу услуг. Каких – безразлично. Ни добра, ни зла нет для этого человека, готового служить чем угодно и как угодно.

Куда бы я ни пошел, я всюду наталкиваюсь на него. Выхожу утром из дома – как столб стоит у подъезда. Возвращаюсь вечером – в темноте вырастает силуэт.

– Не будет ли каких приказаний на завтра?

– Да объясни ты на милость: чего тебе от меня нужно? Что ты ко мне привязался?

– Ваше высокобродие, явите начальническую милость. Так что, как вы со всеми господами начальниками знакомы, вам ни в чем не откажут...

– Ну, к делу.

– Билет на выезд на материк. На постройку.

То есть на постройку Уссурийской железной дороги, которая строится каторжными с острова Сахалин.

– Когда еще в «работах» был, я на дороге находился, работал всегда усердно, исправно. Начальство мною было довольны. Ваше высокобродие, явите такую вашу начальническую милость...

И после этого вечный припев при каждой нашей встрече:

– Господи. Работал. Вегда были довольны. И теперь должен на Сакалине пропадать...

Замечаю, однако, что более порядочные поселенцы от моего чичероне, уссурийского труженика, что-то сторонятся.

Спрашиваю как-то у моего кучера, мальчишки из хорошей поселенческой семьи, присланной сюда «за монету»:<sup>20</sup>

– Слышь-ка, что этого, черного, высокого, все как будто чураются?

– Не любит его народ, – нехотя отвечает мальчишка.

– А за что?

– Кто ж его знает... На дороге там, что ли... палачом был... вот и чураются...

Вот что называется на Сахалине «работой». И вот на какие работы просится уссурийский труженик.

– Ты что ж? – спрашиваю его. – Ты мне прямо говори. Я теперь знаю. Ты в палачи хочешь поехать наниматься?

– Так точно.

И смотрит на меня такими ясными, такими светлыми глазами.

Словно речь идет о самом, что ни на есть почтеннейшем труде.

О, эта сахалинская улица! Какие встречи на ней!

Надо было мне повидать сахалинскую знаменитость, палача Комлева.

Отыскал дом, где он временно приютился.

– Подождите, сейчас придет, – сказала мне хозяйка-каторжанка, отданная в сожительницы.

И в комнату вошел Комлев с ребенком на руках.

Комлев явился в пост «на работу», прослышав, что в тюрьмах предстоит повешенье. А в ожидании «работы» нанялся... у поселенки нянчить детей.

Разве не истинно каторжным веет от таких ежесекундных встреч на посту Александровском, от этих на каждом шагу попадающихся на глаза картин нищеты и крайнего падения?

## II

Мы на главной улице Александровского. Если бы не серые халаты, не арестантские бушлаты пешеходов, смело можно было бы вообразить себя на какой-нибудь Миллионной или Дворянской улице маленького городка средней полосы России. Широкая немощеная

---

<sup>20</sup> За выделку фальшивой монеты.

улица. Тротуары, по которым сделаны дощатые мостики. Палисаднички, в которых прозябают жалкие деревца. Одноэтажные деревянные домики.

Каменных зданий на главной улице два: очень красивая часовня, построенная в память избавления Государя Императора от угрожавшей опасности во время путешествия по Японии, в бытность Наследником Цесаревичем, и здание метеорологической станции, где помещается также и школа.

Вид главной улицы в обычное время унылый. Необычное время – это если приезжает кто-либо из Петербурга. Тогда главная улица становится неузнаваемой. В моей коллекции есть несколько фотографий, снятых с этой улицы во время приезда господина начальника главного тюремного управления. И, конечно, нельзя узнать унылой сахалинской улицы среди триумфальных арок и флагов. Деревянные домишки становятся, разумеется, неузнаваемыми под зелеными хвойными гирляндами, которыми разубраны их стены. Тогда сахалинская улица имеет действительно блестящий вид. Удивительно прихорашивается, приукрашивается. То же происходит тогда и со всем вообще Сахалином.

Если вы вспомните, однако, что на том месте, где теперь находятся часовня, собор, музей, губернаторский дом, метеорологическая станция, клуб, присутственные места, дома служащих, еще пятнадцать лет тому назад был глухой, непроходимый бор, – нельзя не подивиться скорости роста сахалинской колонизации.

Пятнадцать лет тому назад – непроходимый лес, теперь – улица как улица.

Словно не на каторге, а в обычном унылом провинциальном городишке. Полной иллюзии мешают, как я уже сказал, костюмы пешеходов да еще кости кита, красующиеся на деревянных подпорках перед зданием сахалинского музея. Совсем необычное украшение улицы. Кит был выброшен во время шторма на отмель, и его кости – предмет гордости музея. «Их моют дожди, посыпает их пыль», а навес для них все еще «думают» и «собираются» строить. «Думать» и «собираться» – два самых распространенных занятия на острове Сахалин.

Сахалинский музей – маленькое, но очень интересное учреждение. Все, что могла дать бедная история и этнография печального острова, вы найдете здесь в нескольких маленьких комнатах. На вас глядят унылые манекены туземцев, дикарей Сахалина: гиляков, ороchon, тунгусов, айнов. Тупые, добродушные, плоские лица гиляков в меховых одеждах. Щурят свои калмыцкие глаза тунгусы и ороchоны, зашитые в меха. Невыносимо воняют айны в их разноцветных праздничных нарядах из рыбьей кожи – это загадочное, вымирающее племя, какая-то смесь монгольского типа с кавказским, странные дикари с волосами поэтов и добрыми, мечтательными глазами. Вам покажут в музее домашнюю утварь, оружие этих дикарей, предметы их религиозного культа. Покажут чучела птиц, заспиртованных рыб, водящихся в сахалинских реках, отрезки деревьев, образцы сахалинского каменного угля, кое-какие вещицы, вроде остатков каменного века, по которым можно еле-еле наметить историю дикарей острова Сахалин.

Есть две-три гипсовых группы, изображающих выволочку каторжанами бревна из тайги. Они свидетельствуют о том, что на Сахалин попал талантливый человек, из которого при других условиях вышел бы недурной скульптор.

– Ну, а где же отдел, посвященный каторге в этом специальном сахалинском музее? – спросил я у господина заведующего.

– Каторга меня не интересует.

И в этом ответе послышалось обычное на Сахалине, типичное полное пренебрежение к каторге, к ее жизни и быту.

– Меня интересуют только чисто научные вопросы.

Как будто изучение этих «отбросов общества» не представляет уже никакого научного интереса.

Быт каторги меняется в связи с переменой взглядов на преступление и наказание. Веяние великого гуманного века, теплое и мягкое и согревающее, как летний ветерок, все-таки чувствуется и здесь. Много, что вчера еще было ужасной действительностью, сегодня уже отходит в область страшных преданий. И какой бы богатый, поучительный материал по истории каторги мог бы собрать сахалинский музей!

Я уж не говорю о том неоцененном материале для ученых, для антропологов, для юристов, для врачей, который погибает на Сахалине благодаря тому, что там, на каторге, меньше всего интересуются каторгой. Несколько времени тому назад один из врачей начал составлять коллекцию типов преступников. Для съемки так называемых антропологических карточек он устроил при лазарете фотографию. Работы шли прекрасно. Коллекция шла прекрасно и обещала быть ценным вкладом в науку. Как вдруг такое невинное занятие было найдено почему-то предосудительным. Фотографию приказано было уничтожить.

Почему?! По недоразумению, по незнанию... И неоцененный материал для науки гибнет, с одной стороны, вследствие незнания, с другой – вследствие пренебрежения к каторге.

– Изучать кого же? Каторгу! Это на Сахалине кажется таким же смешным, как у нас серьезным.

Жизнь сахалинских служащих – жизнь унылая, серая, однообразная. Все их ежедневное общение с миром состоит в получении телеграмм «Российского телеграфного агентства». Телеграммы имеются ежедневно за исключением, конечно, тех случаев, когда телеграф испорчен. А это случается часто и подолгу. Тогда сахалинские служащие чувствуют себя окончательно отрезанными от всего мира и, по их словам, чувствуют тогда гнетущую, давящую, ноющую тоску.

– Словно заперли умирать в каземат, и никто не услышит ни крика, ни вопля, ни стона, – как говорила мне одна из сахалинских дам.

Телеграммы, этот последний нерв, соединяющий «мертвый остров» с живым миром, получают служащими в складчину и в посту Александровском печатаются в казенной типографии. Зайдем туда. Здесь действительно можно на минуту забыть, что находишься на каторге. Знакомая близкая обстановка: кассы, реалы. Привычный стук литер о верстатку. Запах типографской краски. Из всех сахалинских мастерских здесь мы можем рассчитывать на прием наиболее теплый, дружеский, в котором есть даже что-то родственное. Журналист и наборщик, когда они встречаются между собой, – как во встрече двух солдат одного и того же полка. К тому же приятно и поговорить на этом особом языке типографских терминов, близком и понятном нам обоим. На языке, на котором давно не приходилось говорить.

– Чисто, как в Москве, – улыбаясь, говорит мне метранпаж.

Мы оказываемся старыми знакомыми. Он из Москвы, набирал в той газете, где я писал. Судился за преступление, которое слушалось при закрытых дверях.

Бедная техническими средствами сахалинская типография работает на славу, – и на простом тискальном станке ухитряется печатать официальное издание «Сахалинский календарь» в тридцать печатных листов. В некотором роде подвиг, который из читателей оценят только господа типографы.

Среди наборщиков оригинальный тип. Старичок в очках. Бродяга. Всю свою жизнь состоит при «журнальном деле».

– Еще работал в покойном, блаженной памяти, «Морском сборнике».

И он говорит о «покойном», как будто речь идет об умершем родственнике. С какой любовью он говорит со мной о журналах.

– Скучаете здесь по журналам?

Он улыбается грустной улыбкой.

– Шибко-с. Ведь вся жизнь прошла в этом деле. Свыкнешься... Одно вот теперь успокоение нахожу: когда телеграммы набирать. Набираешь – ровно на газете работаешь. Так иной раз замечтаешься – смешно-с...

И на глазах старика, смеющегося над своими мечтаниями, навертываются слезы.

– А за что здесь-то?

– Из бродяг-с.

– И нельзя открыться?

– Невозможно-с.

Чего натворил этот старичок, находящий себе поэзию в наборе телеграмм и говорящий, словно о человеке, о «покойном» журнале?

В переплетной при типографии мы встречаем интересную личность – в некотором роде недавнюю знаменитость.

Петербургский «убийца в Апраксином переулке». Преступление, обратившее на себя внимание своим спокойствием, жестокостью, зверством. Молодой парнишка, он убил с целью грабежа трех женщин. Присужден к двадцати годам каторги. Вот странные глаза. Совершенно желтого, золотистого цвета. Такие глаза бывают только у кошек. Он смотрит на вас прямо, открыто, зорко, и, если можно так выразиться, никакой души не чувствуется в этих глазах. Ни злой, ни доброй – так, совсем никакой. Такой взгляд встречается у особенно зверских, холодных и спокойных убийц с целью грабежа. Они обыкновенно очень благообразны, даже симпатичны. На лице у них вы напрасно стали бы искать какой-нибудь «печати Каина», каких-нибудь зверских черт. Только в глазах нет тихого мерцания души. Только во взгляде вы читаете, что чего-то человеческого не хватает этому существу. И вы ясно представляете себе, как он убивал. Он смотрел, вероятно, на свою жертву тем же спокойным взглядом. Холодным, пристальным взглядом очковой змеи. И от этого взгляда холодно, вероятно, делалось на душе у жертвы. Ни злобы, ни ненависти, ни бешенства не было в этом взгляде. Он смотрел с любопытством на льющуюся кровь, на предсмертные судороги жертвы. С любопытством кошки, раздавившей лапой таракана. И только. Чувство жалости, чувство сострадания атрофировано у этих людей, – читается в их взгляде. Они лишены от рождения чувства жалости, как бывают люди, лишенные от рождения чувства зренья.

Бойкий, расторопный мальчишка смотрит своими кошачьими глазами и спокойно рассказывает, как убивал.

– Как же это так?

– С куражу.

– Пьян был?

– Никак нет. А так, вся жизнь тогда в кураже была. Лакеем служил, половым. Постоянный кураж кругом. С куражу и подумал: «Пойтить убить – денег добуду».

– Ну, а теперь?

– К ремеслу приучаюсь.

И он с любовью – с любовью, в которой есть что-то сентиментальное, – показывает переплет, который только что сделал.

Переплет, любовно сделанный теми же руками, которые так спокойно убивали людей.

– Отличный переплет, братец, у тебя вышел.

По его лицу расплывается широчайшая улыбка удовольствия.

Удивительно странное впечатление производит этот мальчик, из зверя-убийцы превращающийся в подмастерье, которого тешит его дело. Словно зарезал троих и сел в игрушки играть.

## Приговаривается к каторжным работам

Выражаясь по-сахалински, в «пятом» (1895) году на Сахалин было сослано 2212 человек, в «шестом» – 2725.

Замечательное дело: мы ежегодно приговариваем к каторжным работам от двух до трех тысяч, решительно не зная, что же такое эта самая каторга?

Что значат эти приговоры «без срока», на 20, на 15, на 10 лет, на 4, на 2 года?

А потому, прежде чем ввести вас во внутренний быт каторги, познакомить с ее оригинальным делением на касты, ее обычаями, нравами, взглядами на религию, закон, преступление и наказание, – я должен познакомить вас с тем, что такое эта самая каторга, какому наказанию подвергаются люди, ссылаемые на Сахалин.

Как мы уже видели, все каторжники делятся на два разряда: разряд испытуемых и разряд исправляющихся.

В разряд испытуемых попадают люди, приговоренные не меньше как на 15 лет каторги.

Бессрочные каторжники должны пробыть в разряде испытуемых 8 лет, присужденные к работам не свыше 20 лет – 5 лет и присужденные к работам от 15 до 20 лет – 4 года. Остальные обыкновенно сейчас же зачисляются в разряд исправляющихся.

Только тюрьма для испытуемых и представляет собою тюрьму так, как ее обыкновенно понимают.

Испытуемая, или, как ее обыкновенно зовут в просторечье, кандальная, тюрьма построена обыкновенно совершенно отдельно, огорожена высокими палями – забором. Вдоль стен ходят часовые, что не мешает испытуемым бегать и из этих стен, на виду у этих часовых. Какой стеной удержишь, каким часовым испугаешь человека, которому, кроме жизни, нечего уже больше терять? И которому смерть кажется сластью в сравнении с этой ужасной жизнью в кандальной?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.